

СКОТТ В.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
МОНАСТЫРЬ

Собрание сочинений

Вальтер Скотт

Монастырь

«Алгоритм»

1820

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

Скотт В.

Монастырь / В. Скотт — «Алгоритм», 1820 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03063-5

Вальтер Скотт (1771–1832) – английский поэт, прозаик, историк. По происхождению шотландец. Создатель и мастер жанра исторического романа, в котором он сумел слить воедино большие исторические события и частную жизнь героев. С необычайной живостью и красочностью Скотт изобразил историческое прошлое от Средневековья до конца XVIII в., воскресив обстановку, быт и нравы прошедших времен. Из-под его пера возникали яркие, живые, многомерные и своеобразные характеры не только реальных исторических, но и вымышленных персонажей. За заслуги перед отечеством в 1820 г. Скотту был дарован титул баронета. Роман «Монастырь», публикуемый в этом томе, великолепно изображает темную и глухую Шотландию в трагические времена военного разгрома и вместе с тем – духовного обновления, с отмирающей старой религией и возникающей новой, с полной политической анархией внутри страны и с характерной для шотландцев жадой политической свободы.

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-03063-5

© Скотт В., 1820
© Алгоритм, 1820

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Введение | 6 |
| Вводное послание | 16 |
| Ответ автора «Уэверли» | 32 |
| Глава I | 37 |
| Глава II | 40 |
| Глава III | 46 |
| Глава IV | 51 |
| Глава V | 57 |
| Глава VI | 65 |
| Глава VII | 70 |
| Глава VIII | 75 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 78 |
| Комментарии | |

Вальтер Скотт

Монастырь

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2009

* * *

Введение

[1]

Затруднительно было бы привести какую-либо основательную причину, в силу которой автор «Айвенго», употребивший в названном романе все свое умение, чтобы отвести героев повести, нравы и действие подальше от своих родных мест, избрал теперь, в следующей работе, фоном для повествования знаменитые развалины Мелроза, расположенные в ближайшем соседстве с его домом. Но причина или прихоть, породившая изменение его планов, совершенно выпала из его памяти, да и не стоит пытаться восстанавливать то, что не имеет существенного значения.

В основу нового произведения легло противопоставление двух характеров этого бурного и неумолимого века, поставленных в такое положение, при котором они должны были по-разному относиться к Реформации. Оба они с одинаковой искренностью и чистосердечием посвятили себя: один – поддержке падающего значения католической церкви; другой – утверждению нового, реформатского учения. Автор полагал, что столкновение на жизненном пути двух таких фанатиков может породить интересное развитие сюжета и даст возможность сопоставить истинную ценность этих людей с их страстями и предрассудками. Окрестности Мелроза очень подходят в качестве фона для задуманной повести. Сами развалины являются великолепной декорацией для любого трагического события, о котором может пойти речь. Кроме того, по соседству с ними чудесная река со всеми своими притоками течет по широкой долине, бывшей местом многих яростных битв и полной многих воспоминаний о прошедших временах. И все это лежит почти непосредственно перед глазами автора, который, таким образом, легко мог включить этот вид в свое повествование.

Местоположение это обладает и иными преимуществами. На противоположном берегу реки Твид виднеются остатки старинных ограждений, обсаженных довольно высокими кленами и ясенями. Когда-то они окружали поля или возделанные пашни деревни, от коей сохранилась теперь всего одна хижина, где проживает рыбак, он же и перевозчик. Деревенские домишки и даже существовавшая здесь когда-то церковь превратились в нагромождение камней, которые можно заметить, лишь подойдя к ним вплотную. Местные жители постепенно переселились в возникший по соседству, в двух милях расстояния, процветающий городок Галашилс. Но суеверные старики населили покинутые рощи взамен живых людей воздушными существами. Разрушенное и заброшенное кладбище в Болдсанде давно уже считается прибежищем фей. Освещенные луной широкие и глубокие воды реки Твид, огибающей откос крутого берега, заросшего деревьями, в свое время посаженными для ограждения полей, а ныне образующими небольшие рощицы, чудесно дополняют наше представление о волшебной местности, облюбованной для игр и плясок Обероном и королевой Мэб. Здесь бывают вечера, когда посетитель, вслед за стариком Чосером^[2], может подумать, что

...Королева фей
С волшебной арфой своей
И ныне там живет¹.

Другим прибежищем племени эльфов, еще более ими облюбованным, была (если верить преданию) долина речки – или, скорее, ручейка – Аллен, впадающей в Твид с северной стороны, около четверти мили выше нынешнего моста. Ручеек этот прокладывает себе путь позади охотничьего домика лорда Sommerville, именуемого «Павильоном». Лощина, по кото-

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Б. Томашевским.

рой он течет, получила прозвище Лощины фей, или, иначе, Безымянной лощины, ибо, согласно старинному поверью, всякого, кто упомянет имя волшебного племени (или только намекнет на него), ждет беда. Наши предки называли эльфов и фей добрыми соседями, а горцы именovali их даоин-шай, или «мирные люди». Впрочем, имена эти давались скорее из почтения и не выражали какого-либо представления о дружеских чувствах или мирном общении, так как ни горцы, ни пограничные жители не верили в возможность дружелюбия со стороны этих раздражительных существ.

В подтверждение того, что деятельность сказочного племени продолжается и по сей день, приводят находки в долине, после спада весенних вод, неких известковых образований, то ли созданных руками маленьких волшебников, то ли выточенных силой водоворотов, бурлящих среди камней. Образования эти имеют некое фантастическое сходство с чашечками, блюдцами, мисками и т. п., почему дети, которые их собирают, утверждают, что это домашняя утварь фей.

Кроме этих признаков романтической местности, *mea raupera regna*² (так капитан Дальгетти называет свои владения в Драмсуэките) граничат с небольшим, но глубоким озером. Говорят, что еще ныне здравствующие люди видели, как из этого озера на берег выходил бык и ревом своим сотрясал холмы.

Действительно, окрестности Мелроза, хоть они и не отличаются столь же романтической прелестью, как некоторые иные виды в Шотландии, вызывают так много увлекательных для воображения фантастических представлений, что могут соблазнить человека, даже и менее к ним пристрастного, чем автор, приспособить пейзажи будущего повествования к этим любимым им местам. Однако было бы неправильно предполагать, что если Мелроз, в общем, и может сойти за Кеннаквайр и его виды соответствуют пейзажам «Монастыря» в отношении подъемного моста, мельничной плотины и иных конкретных деталей, то и все картины романа обладают точным и безусловным сходством с реальной действительностью. Автор поставил себе целью не списать свой ландшафт с натуры, а создать некий вымысел, в котором знакомый ему пейзаж был бы отображен лишь главнейшими чертами. Таким образом, сходство воображаемого Глендеарга с подлинной долиной Аллена далеко не безусловное, да автор и не стремился их отождествлять. Это должно стать ясным для всякого, кто знает характерные особенности долины Аллена и даст себе труд прочесть описание вымышленного Глендеарга. В этом описании речка бежит по узкому романтическому ущелью, извиваясь и крутясь подобно ручью, который ищет себе самого удобного пути, не встречая по дороге никаких признаков возделанных земель. Начало свое речка эта берет поблизости от одинокой башни – жилища некоего вымышленного церковного вассала и места действия некоторых эпизодов романа.

Подлинная же речка Аллен, пробегая через романтический овраг, именуемый Безымянной лощиной, и отскакивая от его берегов, подобно тому как шар отскакивает от бортов бильярда, в этой своей части действительно напоминает поток, низвергающийся по долине Глендеарга, но зато выше она течет по более открытой местности, где берега расступаются шире и где в долине имеются обширные участки незатопленной, сухой земли, которые отнюдь не были обойдены вниманием ревностных земледельцев этой округи. Речка эта тоже доходит до своего истока, по-своему примечательного, но совершенно не совпадающего с описанием в романе. Вместо одинокой пиль-башни, или пограничного сторожевого укрепления – обители госпожи Глендининг, в истоках Аллена, примерно в пяти милях от слияния его с Твидом, видны развалины трех пограничных строений, принадлежавших трем различным владельцам, которые из естественного в эти смутные времена стремления к взаимной помощи были расположены рядом, на границе участка, составляя как бы одну усадьбу. Одно из этих полуразрушенных строений – замок Хиллслэп, в свое время принадлежавший Кэрнкроссам, а теперь

² Мои убогие владения (лат.).

мистеру Иннесу из Стоу. Вторая башня, Колмсли, издавна находилась в потомственном владении семьи Бортуик, что доказывается гербом – козлиной головой на щите, украшающим эти развалины; третий замок принадлежал семейству Лэнгшоу, и он тоже лежит в развалинах, но рядом с ним нынешний владелец, мистер Бэйли из Джервисвуда и Меллерстанна, построил охотничий домик.

Все эти развалины, которые так странно теснятся в весьма уединенном месте, полны своих особых воспоминаний и преданий, но ни одно из них не имеет ни малейшего сходства с соответствующими описаниями в романе «Монастырь». А поскольку автор едва ли мог допустить такие грубые ошибки, касающиеся местности, расположенной в нескольких часах езды от его дома, надо сделать вывод, что он и не стремился к точному соответствию. Что касается замка Хиллслэп, то о нем еще теперь вспоминают благодаря причудам его последних владельцев, нескольких пожилых дам, отчасти напоминающих мисс Рэйлендс из «Старого поместья»^[3], хотя и не столь богатых и знатных, как она. Колмсли прославлен песенкой:

Колмсли на холме стоит,
Вода вокруг мельницы журчит...
И дружит с мельницей пекарня,
Зато нет больше в Колмсли псарни!

В Лэнгшоу, хотя это и самая крупная усадьба из всех трех, расположенных в устье воображаемого Глендеарга, нет ничего особо примечательного, кроме надписи, помещенной нынешним владельцем над входом в его охотничий домик: «*Utinam hanc etiam viris impleani amicis!*»³

Кстати, я не знаю, кто смог бы лучше и шире претворить в жизнь это скромное пожелание, чем тот джентльмен, который выразил его в столь ограниченных пределах.

Показав, таким образом, что я могу кое-что сказать об этих разрушенных башнях, которые объединило у входа в ущелье или стремление их обитателей к общению, или возможность более эффективной совместной обороны, мне нет необходимости приводить еще какие-либо основания, чтобы показать, что башни эти не имеют ничего общего с одиноким жилищем госпожи Элспет Глендининг. За указанными строениями сохранились кое-какие перелески и широкие пространства трясин и болот. Однако и тут я не могу рекомендовать тому, кто интересуется местностью, тратить время на поиски источника и куста остролиста, около которых появлялась Белая дама.

Поскольку я касаюсь этой темы, могу добавить, что для капитана Клаттербака, воображаемого издателя «Монастыря», не найти никакого прототипа ни в деревне Мелроз, ни в ее окрестностях. Во всяком случае, я никого похожего на него не встречал и о таковом не слыхивал. Дабы придать некоторое своеобразие этому лицу, оно наделено чертами характера, который иногда встречается в современном обществе. Такой человек обычно проводит всю жизнь в обязательных для него профессиональных занятиях, но в конце концов от них освобождается и вдруг остается без всякого дела и рискует от этого впасть в тоску до тех пор, пока ему не удастся найти какой-либо второстепенный предмет исследования, соответствующий его способностям, и исследования эти занимают его в его уединении. Надо заметить, что обладание запасом специальных знаний повышает значение человека в обществе. Я часто наблюдал, что даже самое случайное и поверхностное изучение древностей удивительно заполняет душевную пустоту, отчего многие капитаны Клаттербаки ему и предались. Поэтому я был весьма удивлен, когда мне стало известно, что в моем капитане-археологе узнают одного моего соседа и друга, хотя для всякого, кто прочел книгу и знает, какие свойства характера я приписываю моему

³ О, если бы я мог наполнить и этот дом друзьями! (лат.)

герою, должно быть ясно, что ничего общего между ними нет. Это ошибочное отождествление встречается в книге, озаглавленной: «Иллюстрации к трудам автора «Уэверли». Замечания и анекдоты, относящиеся к подлинным лицам, событиям и эпизодам, легшим в основу его сочинения, составленные Робертом Чеймберсом»^[4].

Этот труд, естественно, должен был изобиловать ошибками, да иначе и не могло быть, даже при величайшей изобретательности автора, так как он взял на себя труд разъяснять то, что может быть известно только другому лицу. Ошибки в отношении местности или упоминаемых неодушевленных предметов не имеют существенного значения. Но добросовестный автор должен был бы проявлять особую осторожность, сопоставляя подлинные имена с вымышленными персонажами. Помнится, в «Зрителе»^[5] мы читали об одном деревенском шутнике, который в своем экземпляре книги «Нравственный долг человека»^[6] против каждого описания порока ставил имя лица, живущего с ним по соседству, и таким образом превратил этот превосходный труд в пасквиль на целый приход.

Подобно пейзажу, который достался автору в готовом виде, и исторические традиции местности благоприятствовали ему. В стране, где кони постоянно стояли оседланными и воин редко расставался с мечом, война была неизменным и естественным состоянием для населения, а мир существовал лишь в качестве изменчивого и короткого перемирия. При этих условиях у автора не было недостатка в возможности запутать и распутать по своему усмотрению эпизоды своего повествования. Однако при описании пограничного района возникло затруднение, так как все его ценности в свое время уже были расхищены как им самим, так и другими. И тут необходимо было представить все в новом свете, иначе имелись бы все основания упрекнуть автора в том, что *crambe bis cocta*⁴.

Для придания описанию необходимого качества новизны кое-что, казалось бы, могло дать сопоставление характеров церковных вассалов с характерами вассалов светских баронов, которые их окружали. Но большой пользы от этого все-таки ждать было нельзя. Конечно, известное различие между этими двумя группами населения существовало, но, подобно тому как разные семейства и классы минералов и растений легко устанавливаются естествоиспытателями, в то время как для обыкновенного человека в них все-таки гораздо больше сходства, чем различия, так и группы эти в целом настолько схожи, что трудно противопоставить их друг другу. Оставалась возможность воспользоваться чудесами – ввести в повествование явления таинственные и сверхъестественные. Это обычная уловка попавших в затруднительное положение авторов, известная со времен Горация. Но в наше время права этого священного убежища подвергаются большим сомнениям и даже начисто отвергаются. Народные поверья теперь не допускают возможности существования племени волшебных существ, порхающих между этим миром и невидимым. Феи покинули свою утопающую в лунном свете луговину. Ведьмы больше не совершают своих мрачных оргий в зарослях болиголова, и

Видение, чей смертным страшен вид,
Могильный призрак, нынче мирно спит.

Недоверие публики к простонародным и грубым шотландским суевериям побудило автора обратиться к прекрасной, хотя и почти забытой, магии астральных духов или стихийных существ, превосходящих людей знанием и силой, но стоящих ниже их, так как они подвластны смерти, которая будет для них уничтожением, ибо к ним не относится обещание, данное сынам Адама. Предполагается, что эти духи делятся на четыре категории, подобно четырем стихиям, от которых они берут свое начало, и они известны лицам, изучавшим каббалистическую^[7] философию, под именами сильфов, гномов, саламандр и наяд, поскольку они происходят из

⁴ Капуста сварена дважды (лат.).

воздуха, земли, огня или воды. Читатель может найти очень любопытные сведения об этих стихийных духах во французской книге, озаглавленной «Entretiens de Compte du Gabalis»⁵. Остроумный граф де ла Мотт Фуке^[8] сочинил на немецком языке одно из своих самых удачных произведений, где прелестный и даже трогательный эффект достигается образом морской нимфы, которая лишается бессмертия из-за того, что она стремится приобщиться к человеческим чувствам и сочетает свою судьбу со смертным, оплачивающим ей неблагодарностью.

В подражание столь удачному примеру на страницах предлагаемой повести появилась Белая дама Эвенелов. Она представлена как существо, связанное с семейством Эвенелов теми мистическими узами, которые, по понятиям прежних времен, при известных обстоятельствах могли возникать между созданиями стихий и сынами людей. Такие примеры мистической связи наблюдались в Ирландии, в старых милезийских семьях^[9], у которых есть свои банши. Они известны и из преданий горцев, которые во многих случаях считают, что у отдельных племен или семейств есть в услужении бессмертное существо или дух. Демоны эти, если их можно так назвать, возвещали счастье или несчастье семьям, с которыми они связаны. И хотя некоторые из них благоволили вмешиваться только в дела особой важности, другие, как, например, Мэй Моллах, или Дева с волосатыми руками^[10], снисходили до участия и в обычных людских забавах, вплоть до того, что учили главу клана играть в шашки.

Таким образом, без большой натяжки можно было представить себе бытие подобного волшебного существа в те времена, когда была распространена вера в духов стихий. Но труднее было описать или вообразить себе их свойства и мотивы их поступков. Шекспир – первый авторитет в этих вопросах – изобразил Ариэля^[11], это прелестное создание его фантазии, лишь отчасти приближающимся к человеку и угадывающим природу чувства, которое сыны земли испытывают друг к другу. Это мы узнаем из его слов: «Будь я человеком, мне было бы их жаль». Выводы, отсюда вытекающие, довольно своеобразны, но вполне логичны. Хотя такой дух и стоит выше человека по длительности жизни, по власти над стихиями, по проникновению в настоящее, прошлое и будущее, но он не знает человеческих страстей и не имеет представления о добре и зле и о будущем воздаянии или наказании и, таким образом, относится скорее к животному миру, чем к человеческому роду. А потому приходится предполагать, что он, очевидно, руководствуется в своих действиях случайными пристрастиями и капризами, а отнюдь не чем-либо похожим на чувство или мысль. Превосходство такого существа можно сравнить лишь с превосходством слона или льва, которые много сильнее человека, хотя и стоят на более низкой ступени мироздания. Пристрастия, которые, по нашим представлениям, свойственны волшебным существам, должны напоминать привычки и особенности собаки; а их внезапные порывы страсти и склонность к проказам и каверзам можно сравнить с повадками, присущими кошачьей породе. Все эти проявления их натуры, впрочем, подчинены законам, передающим верховную власть над породой низших существ человеку, – они покоряются либо его знаниям (в это верила секта гностиков^[12], и к этому склонялась философия розенкрейцеров^[13]), либо его отваге и мужеству, которые бросают вызов их иллюзиям.

Исходя из этих представлений о воображаемых духах стихий, Белая дама Эвенелов была изображена автором на страницах повести, ей посвященных, как существо непостоянное, капризное и изменчивое. Она проявляет интерес и благосклонность к семье, с которой связана ее судьба, но относится с насмешкой и даже в какой-то степени с недоброжелательством к прочим смертным, например к ризничему и пограничному разбойнику, навлекшим своей неправедной жизнью мелкие издевательства с ее стороны. Впрочем, надо думать, что у Белой дамы не было ни достаточных сил, ни склонности, чтобы совершить нечто большее, чем кого-либо напугать или привести в замешательство; она неизменно покорялась тем смертным, которые,

⁵ «Беседы графа Габалиса» (*фр.*) – Речь идет о книге французского писателя XVIII в. Монфокона де Виллара «Граф Габалис, или Разговоры о тайных и чудесных науках, в согласии с началами древних магов или мудрецов-каббалистов».

благодаря своей добродетельной решимости и душевной энергии, умели утвердить свое превосходство над ней. В этом отношении она представляется существом, занимающим среднее положение между *esprit follet*⁶, который радуется возможности ввести смертных в заблуждение и их помучить, и доброжелательной восточной феей, которая неизменно помогает им, поддерживает их и руководит ими.

Но либо автор не слишком удачно реализовал свой замысел, либо читатели его не одобрили, – Белая дама Эвенелов не встретила у них широкого признания. Он говорит здесь об этом не для того, чтобы убедить читателей быть более благосклонными в этом вопросе. Он только стремится снять с себя обвинение, что легкомысленно ввел в свое повествование существо, по своим силам и свойствам ни с чем не сообразное.

Создавая другой образ, автор «Монастыря» также потерпел неудачу там, где надеялся на успех. Поскольку не существует ничего более смешного, чем модные чудачества любой эпохи, ему казалось, что серьезные сцены его повествования могут быть оживлены юмористическим описанием модного кавалера елизаветинской эпохи. В любой период истории попытки завоевать и закрепить свое высшее положение в обществе зависели от умения приобрести и высказать некую модную аффектацию, обычно связанную с живостью таланта и энергией характера, но в то же время отличающуюся столь возвышенным полетом мысли, что она выходит за пределы трезвого суждения и здравого смысла. Эти последние свойства, видимо, слишком низменны, чтобы их можно было включить в характеристику того, кто претендует на положение «избранного ума своего века». Претензии же в разных проявлениях и создают галантных кавалеров своего времени, которые с особой ревностью стремятся довести причуды моды до крайности.

Нравы монарха, двора и эпохи всегда задают тон особым качествам, к которым должны стремиться те, кто претендует на высшую светскость. Царствование Елизаветы, королевы-девственницы, отличалось благонаравием придворных и в особенности их безграничным почтением к монархине. Вслед за признанием несравненных совершенств королевы то же восхищение распространялось и на красоту, присущую менее ярким звездам ее двора, которые сияли (как принято было тогда говорить) отраженным от нее светом. Правда, галантные рыцари уж не клялись небом, честью и именем своей дамы, обещая совершить какой-либо подвиг безумной храбрости, который подвергал смертельной опасности не только их собственную жизнь, но и жизнь других людей. Однако, хотя галантные проявления их рыцарской натуры в елизаветинскую эпоху редко шли дальше вызова на ристалище турнира, где ограждения, именуемые барьерами, препятствовали столкновению коней и где все воинское умение всадников проявлялось в сравнительно безопасной стычке на копьях, речь вздыхателей, обращенная к их дамам, сохраняла всю восторженность выражений, с какой Амадис^[14] приветствовал Ориану перед тем, как выйти в ее честь на бой с драконом. Этот тон романтической галантности нашел своего остроумного, но напыщенного истолкователя в лице одного автора, который, составив образцовые фразы и выражения, изложил характер придворной беседы в педантской книге, именуемой «Эвфуэс и его Англия». Об этом вкратце говорится в тексте, но здесь, может быть, уместно сделать некоторые добавления.

Эксцентричность эвфуизма или такого же рода иносказательного жаргона преобладает и в романах Кальпренеда^[15] и Скюдери^[16], которые читались вслух для развлечения прекрасного пола во Франции во время долгого царствования Людовика XIV. Считалось, что в них можно найти единственно правильный язык любви и галантности. Но в это же царствование на них напала сатира Мольера и Буало. Точно такое же умопомешательство, распространившееся на частные салоны, породило жеманную речь так называемых *Precieuses*⁷, составивших

⁶ Духом обманчивым (*фр.*).

⁷ Жеманниц (*фр.*).

кружок в отеле Рамбулье^[17] и давших Мольеру материал для его замечательной комедии «Les Precieuses Ridicules»⁸. В Англии эта мода, по-видимому, ненадолго пережила восшествие на престол Иакова I^[18].

Автор самонадеянно полагал, что претенциозная экстравагантность персонажа, некогда столь модная, сможет позабавить наших современных читателей. Они очень любят оглядываться назад, на быт и нравы своих предков, и можно было рассчитывать, что их заинтересуют и нелепости той эпохи. Однако автор должен откровенно признаться, что ошибся и что его эвфуист не только не нашел признания как интересно задуманный юмористический персонаж, но что он подвергся осуждению как создание неестественное и нелепое.

Можно было бы легко объяснить этот неуспех, отнеся его на счет неумения автора справиться со своей задачей, и, вероятно, многие читатели склонны этим и ограничиться. Однако едва ли можно ожидать, что автор с этим согласится, если он способен сослаться на иные причины, почему он и подозревает, что, вопреки его предварительным расчетам, он просто неблагоразумно выбрал свой сюжет и именно в этом, а не в способе изображения кроется причина его неудачи.

Нравы первобытных народов всегда восходят к природе и поэтому неизменно находят понимание у более утонченных поколений. Нам не требуется ни много примечаний, ни исторических исследований, чтобы дать возможность самому необразованному человеку постичь чувства и выражения героев Гомера. Нам нужно только, как говорит Лир, скинуть с себя все наносное^[19] – отложить в сторону фальшивые убеждения и украшения, которые достались нам по наследству от нашей сравнительно искусственной общественной системы, и наши естественные чувства окажутся в полном соответствии с чувствами хиосского барда^[20] и героев, живущих в его эпосе. Так же обстоит дело и со многими повестями моего друга мистера Купера. Мы сочувствуем его индейским вождям и жителям девственных лесов и находим в его персонажах ту же правду человеческой натуры, которая действовала бы и на нас, если бы мы были поставлены в такие же условия. Это до такой степени верно, что, хотя трудно и даже почти невозможно принудить дикаря, с юных лет воспитанного для войны и охоты, к ограничениям и обязательствам цивилизованной жизни, нет ничего проще или обычного, чем встретить людей, выросших в привычках и удобствах развитого общества, которые охотно готовы сменить их на тяжкие труды охотника и рыболова. Самые развлечения, которых больше всего жаждут и которым больше всего радуются люди всех состояний, если здоровье позволяет им заниматься телесными упражнениями, – это охота, рыболовство и, при известных обстоятельствах, война, то есть те самые естественные и необходимые занятия драйденовского дикаря, который говорит, что он,

Как первобытный человек, свободен
И, как дикарь в лесах, он благороден^[21].

Но хотя занятия и даже чувства первобытных существ и встречают понимание и интерес у более цивилизованных представителей людской породы, из этого еще не следует, что национальные вкусы, мнения и чудачества одного периода цивилизации должны непременно представить такой же интерес или такое же развлечение для другого периода. Обычно, доведенные до крайности, они основываются уже не на естественном вкусе, свойственном человеческому роду, а на возникновении особых преувеличенных представлений, с которыми как человечество в целом, так и новые поколения в частности не могут согласиться и которым они не могут сочувствовать. Экстравагантность хлыщей и щеголей как во внешнем облике,

⁸ «Смешные жеманницы» (*фр.*) – одноактная комедия Мольера (1622–1673), где он высмеивает вычурность манер и разговоров, царившую в аристократических салонах XVII в.

так и в поведении является для времени, когда они живут, законным и часто эффективным объектом сатиры. В доказательство сошлемся на театральных критиков, которые могут каждый сезон наблюдать, как многочисленные *jeux d'esprit*⁹ прекрасно принимаются публикой, потому что сатирик метит в общеизвестную или модную нелепость (как говорится, он каждой своей репликой «убивает глупость наповал»^[22]). Но, когда эта нелепость выходит из моды, тратить заряды остроумия и насмешек на то, чего уже не существует, значит расходовать порох попусту. И пьесы, в которых высмеиваются подобные забытые нелепости, тихо исчезают вместе с когда-то модными претензиями, или если они еще появляются на сцене, то только потому, что им присущ и иной, более прочный интерес, чем тот, который связывал их с манерностью и жеманством определенной эпохи.

В этом, вероятно, кроется причина, почему комедии Бена Джонсона^[23], основанные на особом расчете или, как тогда говорили, «на издевке», под чем подразумевались нелепые, чудачковатые образы, действующие наряду с обычными человеческими характерами, несмотря на едкую сатиру, глубокую ученость и значительность смысла, не возбуждают теперь всеобщего восторга и осуждены на вечное хранение в кабинете антиквария. Но исследования историка убеждают, что персонажи, созданные воображением драматурга, являлись в свое время (хотя теперь уже не являются) живыми портретами, списанными с натуры.

Возьмем другой пример, подтверждающий нашу мысль, в творениях самого Шекспира, который, более чем какой-либо иной автор, создавал свои образы для вечности. При всем благоговейном уважении к этому имени большинство читателей без особого удовольствия знакомятся с теми его персонажами, которые воплощают модное для своего времени сумасбродство. Широким кругам публики не слишком нравятся эвфуист дон Армадо, педант Олоферн и даже Ним и Пистоль^[24], ибо это все портреты с уже исчезнувших оригиналов и чудачества их до нас теперь не доходят. И если страдания Ромео и Джульетты продолжают и сейчас трогать все сердца, образ Меркуцио, который представляет собою точное изображение изысканно-светского человека своей эпохи (и поэтому был единодушно одобрен современниками), так мало интересен для нас теперь, что, если отнять у него все словесные остроты и каламбуры, он сохраняет право на внимание зрителей только благодаря своему изящному и поэтическому монологу о снах, который не относится ни к какому времени, и благодаря тому, что это – персонаж, необходимый для развития сюжета.

Мы, пожалуй, слишком далеко зашли в рассуждении, имевшем целью доказать, что введение в действие романа юмористического героя, подобного Пирси Шафтону, все поведение которого зиждется на некогда модных, а ныне устарелых и забытых причудах, скорее способно отвратить читателя своей неестественностью, чем дать ему повод для смеха. Благодаря ли этой теории или, возможно, по более простой и вероятной причине, а именно неспособности автора должным образом реализовать свой замысел, грозное возражение: «*incredulus odi*»¹⁰ последовало как в отношении Белой дамы Эвенелов, так и эвфуиста. И если второго осудили за неестественность, то первую отвергли за неправдоподобие.

Мало что оставалось в романе, что могло бы смягчить эти просчеты в двух главных пунктах. События в нем были неумело нагромождены друг на друга. В развитии сюжета не были выделены те обстоятельства, на которых мог бы сосредоточиться главнейший интерес читателя; что же касается заключения, то оно возникало не из того, что происходит в самой повести, а вследствие событий государственного значения, к которым роман не имеет непосредственного отношения и о которых читателю мало что известно.

Все это если и не представляло собою безусловного порока, однако было существенным недостатком романа.

⁹ Остроты (*фр.*).

¹⁰ Не верю и не терплю (*лат.*) – Гораций. «О поэтическом искусстве» (стих 188).

Правда, в пользу непосредственно-очевидного и менее искусственного заключения повествования можно привести не только проверенный опыт многих выдающихся писателей, но и общий ход самой жизни. Редко бывает, чтобы те же лица, которые окружали человека в начальный период его жизни, продолжали принимать в нем участие и позже, после того как в судьбе его наступил перелом. Обычно бывает наоборот, и в особенности тогда, когда события его жизни были достаточно разнообразны и заслуживают того, чтобы с ними ознакомились как другие люди, так и все общество в целом. Большею частью бывает, что последующие знакомые героя совсем не те, с которыми он когда-то вышел в плавание: их он потом оставил далеко за собой, или они сами отошли в сторону, или пошли ко дну во время путешествия. Это достаточно избитое сравнение справедливо и в другом отношении. Многочисленные и разнообразные корабли, вышедшие в плавание по бурному океану в самых разных направлениях, хотя и стремятся каждый придерживаться своего особого курса, все же, в общем, больше зависят от ветров и приливов, оказывающих свое действие на всем пространстве водной стихии, по которой они плывут, чем от своих собственных усилий. И так же бывает и в жизни, когда человек предусмотрительно намечает для себя правильный путь, а какое-либо событие, затрагивающее всех и, может быть, даже все государство, опрокидывает его расчеты, подобно тому как случайное прикосновение могущественного существа обрывает сотканную пауком паутину.

На основе такого понимания человеческой жизни создано много превосходных романов, где герой участвует в целом ряде сцен, в которых рядом с ним возникают и пропадают другие действующие лица, может быть и не оказывавшие существенного влияния на развитие сюжета. Такова структура «Жиль Бласа»^[25], «Родерика Рэндома»^[26] и описание жизни и приключений многих других героев, которых автор проводит через различные жизненные перипетии и заставляет претерпевать различные приключения, связанные между собою только тем, что всюду участвует один и тот же человек, личность которого только и объединяет друг с другом отдельные эпизоды, подобно тому как бусы нанизываются на один шнурок – иначе они бы рассыпались.

В жизни чаще всего встречаются подобные, ничем не связанные между собой происшествия, но поскольку романист создает произведения искусства, от него требуется нечто большее, чем только соответствие жизненной правде. Ведь мы требуем от ученого садовника, чтобы он устраивал необыкновенные клумбы и искусственные партеры из цветов, которые «милостивая природа» щедро рассыпает по холмам и долам. Соответственно Филдинг в большинстве своих романов, и особенно в «Томе Джонсе»^[27], своем шедевре, дал великолепный образец логичного построения рассказа, крепко связанного во всех своих частях, рассказа, в котором ни одно событие и почти ни одно действующее лицо не осталось в стороне от подготовки развязки.

Требовать от других авторов, которые могут пойти по следам прославленного романиста, такой же правильности и мастерства означало бы уж очень связать их дар увлекательного изложения жесткими правилами; ведь именно к этому виду беллетристики особенно применимы слова: *Tout genre est permis, hors le genre ennuyeux*¹¹. И все же чем более сжато и умело построено повествование и чем естественнее и удачнее развязка, тем ближе такое произведение к совершенству в области искусства романа. И не может автор пренебрегать этими элементами композиции, не навлекая на себя соответствующего осуждения.

Для такого осуждения «Монастырь» дал, пожалуй, слишком много поводов. Сюжет этого романа, не слишком интересный сам по себе и не очень удачно изложенный, в конце концов развязывается началом военных действий между Англией и Шотландией и столь же внезапным возобновлением перемирия. Правда, события такого рода в действительной жизни не так уж редко встречались, но то, что автор прибег к ним, чтобы достичь развязки, как к некоему *tour*

¹¹ Все жанры допустимы, кроме скучного (*фр.*).

de force¹², возбудило упреки, что сделано это неискусно, да и конец от этого не стал более понятен для широкого читателя.

И все-таки «Монастырь» – хотя и подвергся суровой и справедливой критике, – судя по его довольно широкому распространению, вызвал у публики некоторый интерес. И в этом тоже проявился обычный ход вещей, ибо весьма редко литературная репутация приобретаетс сразу, после первого произведения, и еще реже теряется после одной неудачи. Таким образом, автор получил временное отпущение грехов и возможность, если он пожелает, найти утешение в старинной шотландской песенке:

Если шутка не вышла,
Мы пошутим опять.

Эбботсфорд, 1 ноября 1830 года

¹² Трюку или фокусу (*фр.*).

***Вводное послание
от отставного капитана его величества королевского
пехотного полка Клаттербака автору «Уэверли»***

Сэр!

Отнюдь не притязая на лестное знакомство с вами и пребывая, подобно многим, в полной для вас неизвестности, я все же с интересом слежу за изданием сочинений ваших и жажду их продолжения – не потому, однако, что мню себя знатоком по части литературного вымысла либо расположен близко принимать к сердцу излагаемые вами мрачные происшествия или забавляться тем, что было задумано ради увеселения читателей.

Не скрою от вас, что последнее свидание Мак-Ивора^[28] с сестрой нагнало на меня зевоту, а когда школьный учитель стал читать вслух шуточки Дэнди Динмонта^[29], я заснул уж по настоящему. Вы видите, сэр, что хоть я и желаю заручиться вашим расположением, но отвергаю путь, на который иногда вступаете вы. Если прилагаемые к сему записки ничего не стоят, я не стану навязывать их вам с помощью лести, подобно плохому повару, который несвежую рыбу приправляет прогорклым маслом. Нет, сэр! Для меня ценность ваших сочинений заключается в том, что они проливают некоторый свет на древнюю историю страны – науку, которую я начал изучать уже не в первой молодости, но со всем пылом первой любви, ибо в моих глазах только эта наука чего-то стоит.

Прежде нежели вы ознакомитесь с историей моей рукописи, сэр, я изложу вам свою личную историю (на три тома ее не станет). Вы имеете обыкновение в авангард каждого подразделения прозы отряжать по несколько стихотворных строчек (надо полагать – в качестве застрельщиков), и тут я весьма кстати набрел в томике Бернса, взятом у школьного учителя, на строфу, которая как будто про меня написана. Эти строчки нравятся мне тем более, что они были в свое время посвящены капитану Гроузу, превосходному антикварию, который, однако, подобно вам, был склонен слишком легкомысленно судить о своих собственных трудах:

Солдатом был он чуть не с детства,
И смерть он предпочел бы бегству.
А нынче меч и ранец сдал
В архив недаром,
И, как его бишь там, вдруг стал
Он антикваром^[30].

Я никогда не мог понять, какие побуждения руководили мною, еще подростком, при выборе ремесла. Во всяком случае, не воинскому усердию и пылу обязан я добытым у шотландских стрелков офицерским чином, в то время как все мои опекуны и попечители прочили меня в ученики старому Дэвиду Стайлсу, чиновнику канцелярии его величества. Повторяю, воинским усердием я не отличался, сам драчуном не был и ни в грош не ставил жизнеописания героев, которые в прошлые века опрокидывали весь мир вверх тормашками. Что до мужества, то я впоследствии обнаружил, что обладаю им лишь в нужной мере, и ни каплей больше. Просто я убедился, что в схватке удирать опаснее, чем оставаться лицом к лицу с врагом. Да и, кроме того, не мог же я рисковать своим офицерским чином, который был для меня главным источником существования. Что же касается кипучей отваги, о которой зачастую толкует наш брат военный, то я должен сказать: сей самозабвенный доблестный задор, заставляющий рваться за опасностью, как за возлюбленной, мне на поле брани встречался не так уж часто, и мой собственный воинский кураж был куда осмотрительнее.

Теперь о страсти к красному мундиру, которая, будучи единственной силой, побудившей человека выбрать военную карьеру, породила множество плохих солдат и мало хороших, – этой страсти у меня и в помине не было. Вовсе равнодушно относился я и к обществу молодых девиц: хотя в нашей деревне был пансион и с хорошенькими воспитанницами мы встречались на еженедельных уроках танцев у Саймона Лайтфута, я не могу вспомнить ни одного сколько-нибудь сильного чувства, связанного с этими встречами, кроме глубочайшего сожаления, с которым я каждый раз в финале учтиво вручал своей даме апельсин (нарочно для сей церемонии засунутый мне в карман моей тетушкой). Будь я посмелее, апельсин, без сомнения, оказался бы припрятанным для моей собственной персоны.

Что касается тщеславия или любви к щегольству, скажу, что эти чувства мне настолько чужды, что немалых трудов всегда стоило заставить меня хорошенько вычистить мундир, дабы появиться в безукоризненном виде на параде. Никогда не забуду замечания, которое мне сделал старый полковник однажды утром, когда король производил смотр нашей бригаде.

– Видит Бог, я не поощряю расточительности, прапорщик Клаттербак, – сказал он, – но в день, когда мы представляемся его величеству, я бы постарался быть при чистом воротнике.

Таким образом, обычные побуждения, которыми руководствуются молодые люди, избирая военную карьеру, для меня не существовали – никакой склонности стать героем или франтом я не испытывал, так что воодушевить меня на подобное решение мог только пример блаженно безмятежного существования отставного капитана Дулитла, водрузившего свой флагшток отдохновения в нашей деревне. Все прочие жители наших мест имели (или так, по крайней мере, казалось) определенные занятия, – у кого их было больше, у кого меньше. Правда, они не должны были ходить в школу и готовить уроки, что в моих глазах было тягчайшим из зол, но от моей юношеской наблюдательности не могло укрыться, что все они томятся под игом каких-то трудов и обязанностей – все, кроме счастливого капитана Дулитла.

Священник должен был посещать своих прихожан и сочинять проповеди, – хотя, может статься, он преувеличивал свою занятость. Лэрду хватало беготни по полям и возни с новшествами в сельском хозяйстве, не считая обязательного участия в собраниях попечителей, в собраниях должностных лиц, мировых судей и в разных других собраниях, так что он рано вставал (этого я терпеть не мог) и болтался под открытым небом, мокрый или сухой, так же долго, как его управляющий. Лавочник (наше местечко могло похвалиться только одним значительным деятелем этой профессии) чувствовал себя довольно вольготно за прилавком – угождать покупателям не такой уж утомительный труд. Но для отправления своей должности, как выражается наш судья, он должен был перерывать все свои товары сверху донизу, да по нескольку раз, если кто-нибудь желал приобрести хоть один ярд муслина, мышеловку, унцию тмину, пачку шпилек, «Проповеди» мистера Педена^[31] или «Жизнь Джека – укротителя великанов»^[32] (а не «истребителя», как сплошь и рядом ошибочно называется и пишется сие произведение, – смотри мой очерк о подлинной жизни достойного Джека, которую на удивление исказили разными побасенками).

Короче говоря, все местные жители принуждены были делать то, что предпочли бы не делать, и только капитан Дулитл каждое утро прохаживался по главной улице местечка в своем голубом мундире с красным воротником, а каждый вечер просиживал за партией виста, если ему удавалось найти партнеров. Сие счастливое отсутствие всяких обязанностей казалось мне столь заманчивым, что оно, как говорит наш священник, по системе Гельвеция^[33] стало основной силой, направившей мои юношеские склонности к профессии, каковую мне суждено было избрать.

Но кто же, скажите, может предвидеть все, что с ним случится в нашем обманчивом мире! Совсем недолгое время провел я на новой службе, но успел уразуметь, что если беспечность и независимость пенсионера – сущий рай, то офицеру в него не попасть иначе, как через чистилище действительной службы и строгой дисциплины. Капитан Дулитл мог когда

ему вздумается чистить щеткой свой голубой мундир с красным воротником или щеголять в пыльном, но у прапорщика Клаттербака подобной свободы выбора не было. Капитану Дулитлу никто не запрещал лечь спать хоть в десять часов, если ему так заблагорассудится, но прапорщик обязан в положенное время делать обход. И хуже всего то, что капитан мог отдыхать на своей походной кровати под пологом хоть до полудня, если ему так угодно, но прапорщик, да поможет ему Бог, должен был являться на учение с первым лучом зари.

Службой я себя не обременял. На парадах сержант шепотом подсказывал мне, какую команду подавать, и вот этак, не хуже других, отслужил я положенные годы. И для нелюбопытного человека я по долгу службы повидал всего в избытке – носило меня по всему свету: побывал я и в Ост-Индии, и в Вест-Индии, в Египте и еще в таких отдаленных местах, о каких в молодые годы даже не слыхивал. Французов не только повидал, но и почувствовал. Это видно по отсутствию двух пальцев на правой руке, которые их проклятый гусар отрезал саблей так чистенько, как дай бог хирургу в госпитале. И вот наконец, после смерти какой-то старой тетки, мне достался капитал в полторы тысячи фунтов, надежно пристроенных по три процента годовых, и осуществилась моя заветная мечта выйти в отставку. Я предвкушал удовольствие через день менять сорочку и тратить гинею на пропитание.

Намереваясь по-новому устроить свою жизнь, я поселился в деревне Кеннаквайр, на юге Шотландии, получившей известность благодаря развалинам некогда великолепного монастыря по соседству, – здесь собирался я провести остаток дней моих в *otium cum dignitate*¹³, с пенсией и пожизненной рентой. Вскоре, однако, пришлось мне сделать великое открытие, что наслаждение от безделья тешит человека только при условии, что он предварительно хорошо потрудился.

Поначалу упоительно было просыпаться на рассвете и, вспоминая утреннюю зорю, с блаженством повторять себе, что рабство кончилось и я уже не должен вскакивать и бежать сломя голову из-за того, что кто-то лупит по воловьей коже! Могу повернуться на другой бок, послать парад к черту и снова заснуть! Но и этому наслаждению наступил конец: не успел я стать полновластным хозяином своего времени, как оно мертвым грузом повисло у меня на шее.

В течение двух дней занимался я ужением рыбы и успел потерять штук двадцать крючков, десятки ярдов лесы вместе с удочками и не поймал даже одного пескаря. Об охоте не могло быть и речи – лошадиное брюхо никак не мирится с половинной пенсией. Стоило мне пальнуть, как пастухи, хлебопашцы и даже мой собственный пес в открытую насмеялись над каждым промахом, которых было, честно говоря, столько же, сколько выстрелов. Кроме того, тамошние лэрды сами любят свою дичь – стали они поговаривать об исках да о запрещениях. А ведь я не для того бросил воевать с французом, чтобы затевать баталии с «красавчиками из Тевиотдейла», как поется в песне, и потому я кончил тем, что в течение трех дней с увлечением чистил свое ружье и затем с помощью двух крюков укрепил его над камином.

Успех последней операции побудил меня испытать свою сноровку в области прикладной механики. Я снял со стены и принялся чистить старинные часы с кукушкой, принадлежащие моей квартирной хозяйке, после чего весенняя вещунья навсегда разучилась куковать. Мне удалось собрать токарный станок, но когда я начал на нем работать, едва не отхватил стамеской еще один палец, уцелевший от встречи с французским гусаром.

Попробовал я заняться книгами, заимствуя их из маленькой местной библиотеки и из фонда «Любителей серьезного чтения», основанного более просвещенными нашими согражданами. Однако ни легкая книжная кавалерия из первого источника, ни тяжелая артиллерия из второго не оправдали моих чаяний. На четвертой или пятой странице исторического труда или ученого трактата я неизменно засыпал; чуть не целый месяц упорно вчитывался я в какой-то дрянной, выскочивший из переплета роман, которого дожидались все полуграмотные моди-

¹³ Отдохновения с почетом (лат.).

сточки Кеннаквайра, осаждая меня просьбами поскорее вернуть его в библиотеку. Так и получилось, что в течение целого дня, пока все обитатели деревни занимались кто чем, я от нечего делать бродил, посвистывая, по кладбищу и ждал обеда.

Во время этих прогулок развалины монастыря неотступно пленяли мое воображение, и постепенно, начав с созерцания отдельных частей орнамента, я стал изучать общий вид величественного строения. Старый кладбищенский сторож помогал мне, рассказывая все, что он затвердил из монастырских преданий. С каждым днем набирал я все больше сведений о былом виде аббатства, и наконец мне удалось открыть назначение нескольких полуразрушенных зданий, о которых толком ничего не было известно, а если находились объяснения, то они были ошибочны.

Нередко мне представлялась возможность пересказывать добытые мною сведения тем приезжим, которые, путешествуя по Шотландии, посещали сие достопримечательное место. Нисколько не посягая на права и привилегии моего приятеля – кладбищенского сторожа, я незаметно превратился в чичероне номер два, и часто (видя, что прибывает новая партия путешественников) сторож передавал мне группу тех, кому он не успел до конца рассказать все, что знал, со следующими лестными словами:

– Надо бы вам еще кой-чего порассказать, да всего не упомнишь. Вот капитан – он куда больше моего знает. Да и поболее любого в округе.

После этого я учтиво раскланивался с приезжими и начинал обрушивать на их ошеломленные головы всевозможные рассуждения о склепах и алтарях, нефках, арках, готических и римских архитравах, средниках и контрфорсах. И нередко приятельские отношения, начавшиеся в развалинах аббатства, завершались в гостинице, что приятно нарушало мое одиночество и однообразие бараньей грудинки, которую квартирная хозяйка мне неизменно подавала сначала в жареном, затем в холодном и, наконец, в изрубленном виде.

Знания мои постепенно росли, а тут еще я набрел на несколько книг, которые открыли передо мной историю готической архитектуры, и я принялся читать их с увлечением, потому что интересовался тем, что читал. Даже характер стал у меня смелее и общительнее. Я стал выражать свои мнения в клубе с большей уверенностью, и слушали меня как-то почтительнее, потому что, по крайней мере, в одной области у меня оказывалось побольше знаний, чем у всех остальных членов клуба. Мне даже казалось, что мои воспоминания о Египте, которые, по правде говоря, не так уж занимательны, теперь выслушивались с заметным почтением.

– Наш капитан, – говорили в клубе, – если разобраться, кое-что смыслит. Поищи-ка, кто бы больше знал про наше аббатство!

Общие похвалы как нельзя лучше влияли на мое настроение и на крепнущее чувство собственного достоинства. У меня появился прекрасный аппетит и завидное пищеварение, с веселыми мыслями ложился я спать и наслаждался сном до самого утра, когда, сознавая важность своих занятий, спешил изучать, измерять и сравнивать между собой различные части величественного сооружения.

Исчезли все тягостные и неудобноописуемые ощущения, связанные с недомоганиями в области желудка, а также головные боли, из-за которых я постоянно прибегал к лекарствам, пожалуй с большей пользой для местного аптекаря, нежели для себя, ибо лечился я скорее для развлечения. Теперь нежданно-негаданно нашлось занятие, которое заполнило мое время и сделало меня счастливым – шутка ли, я стал первым местным антиквариером и, можно сказать, был достоин сего наименования.

Однажды вечером, в ту пору, когда я с великим удовольствием пребывал в должности вечно занятого бездельника – это определение мне представляется самым лучшим, – случилось так, что я сидел в маленькой гостиной, примыкающей к каморке, которую хозяйка именует моей спальней, и уже подумывал об отступлении в царство Морфея. На столе передо мной лежал взятый из Э*** библиотеки дагдейловский^[34] «Монастикон», к которому с одного

фланга примыкал кусок превосходного честерского сыра (подарок, кстати сказать, одного лондонца, весьма порядочного человека, которому я растолковал разницу между готической и римской аркой), а с другого – кружка лучшего вандерхагенского эля. Вооружившись таким образом, чтобы меня не мучил старый враг мой – досуг, я с ленивой и сладостной медлительностью готовился отойти ко сну – то жуя хлеб с сыром, то обращаясь к старичку Дагдейлу, то смакуя эль; при этом я потихоньку распускал у колен шнурки моих штанов и расстегивал жилетку, дожидаясь, чтобы церковные часы пробили десять, раз уж я поставил себе за правило никогда ранее не ложиться спать.

На этот раз обычный ход событий был прерван громким стуком в дверь, и снизу послышался густой бас почтенного хозяина гостиницы «Святой Георгий»¹⁴:

– Что за чертовщина, миссис Гримслиз! Не может быть, чтобы капитан был в постели! У меня джентльмен заказал курицу, мясные битки, бутылку хереса и велел пригласить капитана отужинать с ним, чтобы он ему выложил все, что он там знает про аббатство.

– Еще бы, – ответствовала хозяйка Гримслиз таким сонным голосом, каким разговаривает шотландская матрона, когда вот-вот пробьет десять часов. – Он не в постели, но могу поручиться, что на ночь глядя никуда не выйдет и не заставит ждать себя до утра, – он человек порядочный, наш капитан!

Мне было нетрудно сообразить, что последний комплимент предназначался для моих ушей, дабы я внял указанию и совету миссис Гримслиз. Но не для того швыряла меня судьба тридцать с лишним лет по разным странам, не для того лелеял я всю жизнь свободу холостяка, чтобы, вернувшись на родину, очутиться под пятой квартирной хозяйки. И, со свойственной мне независимостью, я открыл дверь на лестницу и попросил моего старого друга Дэвида пройти ко мне наверх.

– Капитан, – сказал он, входя в комнату, – я так рад, что вы еще не легли, как будто подцепил на крючок лосося этак фунтов на двадцать. Там у меня остановился джентльмен, который не сомкнет глаз и не найдет благословенного покоя, если вы лишите его удовольствия выпить с вами стаканчик винца.

– Мне не надо вам объяснять, Дэвид, – возразил я со всем приличествующим для данного случая достоинством, – что мне не к лицу в столь поздний час выходить из дому для нанесения визита посторонним лицам или принимать приглашения от господ, о которых мне ничего не известно.

Прежде чем ответить, Дэвид с чувством выругался.

– Слыханное ли это дело! – воскликнул он. – Да ведь джентльмен заказал на ужин курицу, яичный соус, битки да еще блины и бутылку хереса... Неужто я пришел бы звать вас к такому англичанину, который берет на ужин гренки с сыром и стакан горячего рома пополам с водичкой? Нет, это истый джентльмен, до мозга костей, и знаток, настоящий знаток! Костюм на нем темный, добротный, и парик завит не хуже, чем задок у породистой овцы. Первый свой вопрос он мне ввернул насчет старого подъемного моста, что уж больше чем двести лет лежит на дне реки. Остатки от фундамента уцелели, я их видел, когда мы били лососей. Но как он, черт его возьми, мог пронюхать да вызнать про этот старый мост? Видать, знаток он, не иначе как знаток.

¹⁴ Эта гостиница была и остается до сих пор главной гостиницей Кеннаквайра, или Мелроза. Но тогдашний ее хозяин был далеко не такой обходительный и скромный человек, как нынешний. Первого хозяина звали Дэвид Кайл. Это был зажиточный землевладелец, человек, который любил задавать тон и участвовать в решении всех вопросов, касавшихся деловой жизни местечка. Бедняга Дэвид! Подобно многим деловым людям, он отдавал столько душевных сил общественным нуждам, что подчас забывал о собственных. В Кеннаквайре еще можно встретить людей, которые в моем трактиршике узнают Дэвида Кайла и особенности его характера. (Примеч. авт.)

Дэвид сам был в своем роде знатоком, знал толк и в хозяйственных и в правовых вопросах и умел судить о своих постояльцах, так что мне надо было, уже не раздумывая, снова затягивать шнурки у колен.

– Правильно делаете, капитан, – загудел Дэвид, – вы быстро подружитесь с ним, стоит вам встретиться. Такого джентльмена я сам не видел с тех пор, пожалуй, как наш знаменитый доктор Сэмюэл Джонсон^[35] совершал свое путешествие по Шотландии – знаете, это путешествие с оторванным переплетом, которое лежит у меня на столе в гостиной для развлечения гостей?

– Так этот джентльмен из ученого сословия, Дэвид?

– По всей видимости, – ответил Дэвид. – На нем черный сюртук или, на худой конец, темно-коричневый.

– Священник?

– Полагаю, что нет, потому он первым делом распорядился покормить коня, а после уж заговорил про ужин, – ответил хозяин «Святого Георгия».

– Есть у него слуга? – продолжал я.

– Слуги нет, – ответил Дэвид, – но сам он с лица такой представительный, что каждый только глянет на него – и сразу услужить ему захочет.

– А что ему вздумалось меня потревожить? Ах, Дэвид, это все ваша болтовня наделала. Вечно вы спихиваете своих гостей мне, как будто я обязан развлекать всякого, кто останавливается в вашей гостинице.

– А мне, черт возьми, что оставалось делать-то, по-вашему, капитан? – возразил трактирщик. – Вот заезжает ко мне джентльмен и спрашивает и допытывается, есть ли у нас в местечке человек умный да знающий, чтобы порассказать ему про все древности тут по соседству, особенно про старое аббатство. Неужто вы бы хотели, чтобы я этому джентльмену чего-нибудь наврал? А ведь вы хорошо знаете, что во всей деревне ни один человек не может ничего путного сказать об аббатстве – только вы да церковный сторож, но тот к вечеру уж языком не ворочает. Вот я и говорю, живет здесь такой капитан Клаттербак, очень воспитанный джентльмен, у него только и дела, что рассказывать разные разности про аббатство, да и живет он в двух шагах. Тогда джентльмен мне и говорит. «Сэр, – сказал он мне со всей вежливостью, – будьте добры, зайдите к капитану Клаттербаку, передайте ему привет от меня и скажите, что я прибыл в эти края ради того, чтобы поглядеть на эти знаменитые развалины. Я бы сейчас же явился к нему с визитом, но уж больно поздно...» Он говорил еще много кой-чего – я все это позабыл, зато хорошо помню конец: «А вы, хозяин, достаньте бутылку самого лучшего своего хереса и подайте нам ужин на двоих». Не мог же я, как вы полагаете, отказать джентльмену в такой просьбе, притом что ужин-то заказан в моем заведении!

– Ну, решено, Дэвид, – сказал я. – Лучше, если бы наш знаток выбрал другое время, но раз вы говорите, что он джентльмен...

– Тут промаха быть не может, да и заказ сам за себя говорит: бутылка хереса, битки, курица – да разве это не речь джентльмена? Правильно, капитан, застегните мундир как следует – ночь сырая, зато вода в реке отсветлеет, и завтра ночью, пожалуй, если пойдем на лодках нашего лорда, я не я буду, если не представлю вам вечером копченого лососика, как раз под стать вашему элю¹⁵.

Пять минут спустя я уже был в гостинице и встретился с незнакомцем.

Это был серьезного вида человек примерно моих лет (будем считать – около пятидесяти). Облик его, как подметил мой друг Дэвид, действительно внушал каждому собеседнику желание оказать ему внимание или услугу. При этом выражение лица у него было хоть и властное, но

¹⁵ Доброжелательный и любезный дворянин, которому принадлежали эти лодки, – близкий друг автора, покойный лорд Соммервил. Дэвида Кайла всегда приглашали сопутствовать лорду, когда тот с друзьями отправлялся бить лососей, и тогда им случалось вылавливать между Глимором и Лидерфутом до восьмидесяти и даже до сотни рыб. (Примеч. авт.)

совсем не такое, как мне случалось видеть у бригадных генералов, да и платье своим покроем никак не походило на военную форму. Его костюм из темно-серого сукна был довольно старомодным, а такие, как у него, толстые кожаные гетры, что застегиваются по бокам на стальные пряжки, уже давно никто не носил. На лице незнакомца читались следы не только возраста, но горя и усталости; чувствовалось, что человек этот немало повидал и выстрадал. Манера говорить у него была на редкость приятная и учтивая, а извинение по поводу того, что он в столь поздний час позволил себе беспокоить меня, было составлено в такой обходительной и изящной форме, что мне ничего не оставалось, как только уверить его в полной готовности сделать для него все, что в моих силах.

– Сегодня я весь день был в дороге, сэр, – сказал он, – и посему мне хотелось бы несколько отложить то небольшое, что я хотел вам сказать, и сперва заняться ужином, до которого я разохотился больше обычного.

Мы сели к столу, и, несмотря на будто бы внушительный аппетит незнакомца и невзирая на то, что я дома несколько заправился сыром и элем, мне думается, что из двух едоков я оказал большую честь курице и биткам моего друга Дэвида.

Когда убрали со стола и мы налили себе по бокалу глинтвейна, который трактирщики величают хересом, а посетители просто лиссабонским, мне бросилось в глаза, что незнакомец стал задумчивее, молчаливее, стеснительнее, как будто ему нужно сообщить мне что-то важное, но он не знает, с чего начать. Чтобы вывести его из затруднения, я заговорил о древних руинах монастыря и об их истории. Но, к великому моему изумлению, оказалось, что я встретил в его лице знатока археологии куда более сведущего, чем я сам. Незнакомец знал не только все, что я мог ему рассказать, но и гораздо больше, и, что самое обидное, он, ссылаясь на даты, хартии и другие фактические данные, которые, по выражению Бернса, «попробуй-ка оспорить»^[36], сумел внести исправления во многие неясные сказания, которые я принял на веру, основываясь на недостоверных народных преданиях; кроме того, он в пух и прах разнес несколько моих излюбленных теорий касательно стародавних монахов и их обителей, – теориями этими я щеголял в полной уверенности, что мои сведения неопровержимы.

Считаю необходимым заметить, что многие аргументы и выводы незнакомца в значительной степени основывались на авторитете и трудах заместителя шотландского архивариуса¹⁶, чьи неутомимые исследования в области летописей и народных преданий рано или поздно загубят ремесло всех местных любителей древности, мое в том числе, – предания старины и художественный вымысел уступят место исторической истине. Ах, как хотелось бы мне, чтобы этот ученый джентльмен представил себе, как трудно нам, мелким торговцам по антикварной части,

Из нашей памяти преданье вырвать,
Стереть в мозгу начертанную смуту,
Очистить грудь от пагубного груза...^[37]

Полагаю, что сам ученый джентльмен разжалобился бы, подумав, скольких старых кобелей он заставил учиться новым фокусам, скольким почтенным попугаям вдолбил новые песни, скольких седовласых филологов перетормошил, тщетно заставляя их забыть старое *Mumpsimus* и впредь говорить *Sumpsimus*^[38]. Но предоставим все это течению времени. *Humana perpersi sumus*¹⁷. Все изменяется вокруг нас – и век быллой, и нынешний, и грядущий.

¹⁶ Томас Томсон, эсквайр, похвальное слово которому должен бы сочинить другой автор, а не его близкий друг, связанный с ним тридцатилетней дружбой. (Примеч. авт.)

¹⁷ Мы претерпели то, что свойственно людям (лат.).

щий. То, что вчера считалось исторически достоверным, сегодня становится басней, и то, что сегодня провозглашается истиной, уже завтра может быть объявлено ложью.

Чувствуя, что в беседе о монастыре, в которой я до сих пор считал себя неуязвимым, перевес может оказаться на стороне противника, я, как хитроумный полководец, покинул свою линию обороны и стал пробиваться туда, где ненадежнее, а именно обратился к семьям и имениям местных дворян; мне казалось, что тут я смогу еще долго обороняться от вылазок противника, сохраняя за собой преимущество. Но ошибся.

Человек в темно-сером костюме обладал гораздо более точными сведениями, чем я, знал подробности, которых я и не стремился запомнить. Он мог без запинки указать, в каком году предки баронов де Хага впервые водворились в своем родовом поместье¹⁸. Он знал не только каждого тана во всей округе, его родичей и свойственников, но еще помнил наперечет, кто из предков каждого тана пал от руки англичан, кто сложил голову в буйной драке, кто был казнен за измену престолу. Все замки по соседству были ему известны от фундамента до башенки, а что до нескольких древнейших сооружений, уцелевших в наших местах, так он мог бы описать каждое из них от кромлеха^[39] до кэрна^[40] и изложить их историю, как будто жил тут во времена датчан^[41] или друидов.

Оказавшись в унижительном положении человека, который принужден учиться у своего предполагаемого ученика, я понял, что мне ничего не остается, как, по крайней мере для будущих бесед, постараться запомнить побольше из того, что он рассказывает. Все же в качестве прощального залпа, который должен был прикрыть мое отступление, я рискнул пересказать ему поэму Аллана Рэмзи^[42] о монахе и мельничихе. Но и на этот раз всезнающий незнакомец обошел меня с фланга.

– Вы, видно, любите шутить, сэр, – сказал он. – Мыслимое ли дело, чтобы вы не знали, что смехотворный казус, о котором вы говорите, явился сюжетом для рассказа задолго до того, как Аллан Рэмзи написал свою поэму.

Я кивнул головой, не желая признаваться в невежестве, хотя об упомянутом рассказе знал не больше, чем любая из почтовых лошадей моего друга Дэвида.

– Я не имею в виду любопытную поэму «Берикские монахи», – продолжал мой просвещенный собеседник, – которая была опубликована Пинкертоном^[43] на основе Мейтлендовой рукописи, хотя она и дает детальную, весьма занятную картину шотландских нравов в царствование Иакова Пятого^[44]. Я желал бы напомнить о том итальянском писателе, который, насколько мне известно, первый облек в литературную форму этот сюжет, без сомнения заимствованный им из какого-нибудь старинного фавлю¹⁹.

– Да, несомненно, – подтвердил я, не слишком уясняя себе мнение, к которому столь категорически присоединился.

– При всем этом меня занимает вопрос, – промолвил приезжий, – решились ли бы вы позабавить меня этим анекдотом, если бы назначение и звание мое были вам известны?

Он сказал это самым безобидным тоном. Я насторожился и ответил со всей вежливостью, что только полнейшее неведение относительно его сословия и звания могли быть причиной

¹⁸ Род де Хага, впоследствии изменивший свое имя на Хейг из Бимерсайда, является одним из древнейших в стране, и о нем было сложено пророчество Томаса Стихотворца*: Как бы то ни было оно, Хейг будет Хейгом все равно. (Примеч. авт.)* *Томас Стихотворец* (Томас из Эрсилдуна, между 1220–1290) – старейший шотландский поэт, с именем которого связано много легенд. Его реальное существование подтверждается документами, в частности грамотой Петруса де Хага из Бимерсайда, датируемой приблизительно 1260–1270 гг. С именем Томаса связывают древнейшие песни и стихотворные пророчества. Историк Боэций (1465–1536) называл его Томасом Лермонтом, и именно его Лермонтов считал своим предком.

¹⁹ Любопытно проследить за тем, как малоизобретательны последующие поколения в придумывании забавных ситуаций. Тема, которую с успехом разработали Рэмзи и Данбар*, является сюжетом современной пьесы «Нет песни, нет и ужина»**. (Примеч. авт.)* *Данбар* Уильям (1465?–1530?) – шотландский поэт, носитель чосеровских традиций. ** «*Нет песни, нет и ужина*» – пьеса английского драматурга П. Хора (1755–1834).

неприятности, которую я ему, как видно, доставил, и что я почитаю своим долгом просить прощения за непреднамеренную обиду, как только узнаю, в чем она заключалась.

– Обиды не было, сэра, – возразил он. – Обида возникает только в том случае, когда сам человек чувствует себя обиженным. Я слишком долго страдал от гораздо более оскорбительных и запутанных хитросплетений, так что не могу обидеться из-за распространенного в народе анекдота, даже если он направлен против моей профессии.

– Должен ли я из ваших слов сделать вывод, что беседую с католическим священником?

– С недостойным монахом ордена святого Бенедикта^[45], – сказал приезжий. – Эта община была когда-то основана вашими соотечественниками во Франции, но, к великому прискорбию, революция рассеяла нас по свету.

– В таком случае вы исконный шотландец, – спросил я, – и родом из здешних мест?

– Не совсем так, – ответил монах. – Я шотландец только по происхождению и в этих местах ни разу в жизни не был.

– Ни разу не были и, однако, так точно осведомлены об истории нашего края, наших преданий? Даже все окрестности знаете! Вы удивляете меня, сэра! – воскликнул я.

– Ничего удивительного в этом нет, – ответил он, – если принять во внимание, что мой дядя, человек редкой души, настоящий шотландец и глава нашей общины, отдавал много свободного времени, рассказывая мне эти подробности о своей родине. А я сам питал отвращение ко всему, что меня окружало, и в течение многих лет не знал лучшего времяпрепровождения, чем приводить в порядок и перечитывать различные обрывки сведений, записанные со слов моего почтенного родича и других старейших братьев нашего ордена.

– Прошу вас, сэра, не счесть мой вопрос назойливостью, но я полагаю, что вы, вероятно, воротились сейчас в Шотландию, дабы поселиться на родине, поскольку от недавней и грозной политической катастрофы так сильно поределли ваши ряды?

– Нет, сэра, – возразил бенедиктинец, – у меня иные намерения. Некий известный в Европе вельможа, доньне исповедующий католическую веру, предложил нам в своих владениях пристанище, где уже собрались несколько рассеявшихся по белу свету братьев, дабы молиться за покровителя и испрашивать у Господа прощения врагам своим. В этом новом убежище никто, я думаю, не сможет упрекнуть нас в том, что размер доходов наших не соответствует монашеским обетам нищеты и воздержания; мы же научимся благодарить Всевышнего за избавление от мирских соблазнов.

– Многие из ваших монастырей в других странах, – сказал я, – получали весьма порядочные доходы, и все же, если принять во внимание различие эпох, вряд ли любой из них был богаче, чем монастырь в Кеннаквейре. Говорят, что наш монастырь собирал в год около двух тысяч фунтов одной земельной ренты, имел больше пятисот бушелей пшеницы, две тысячи бушелей ячменя, полторы тысячи бушелей овса, множество каплунов и всякой другой птицы, масло, соль, оброк и барщину, торф и яйца, шерсть и эль.

– Даже чересчур много всех этих бранных благ, сэра, – ответил мой собеседник. – Благочестивые жертвователи руководствовались самыми благими намерениями, но их дары пробудили зависть у тех, кто впоследствии подверг монастырь разграблению.

– Что ни говори, а покамест монахам совсем неплохо жилось тут, – заметил я, – и, как говорится в старинной песне, они

...готовили себе капусту
По пятницам в посту.

– Понимаю вас, сэра, – сказал бенедиктинец. – Недаром есть пословица: кто полную чашу несет, хоть капельку да прольет. Монастырские богатства разжигали всеобщую жадность, ставили под угрозу жизнь и безопасность монахов. И это бы еще полбеда – зачастую богатства

эти являлись искушением для самой братии. Но вместе с тем мы знаем случаи, когда монастырские доходы тратились на вспомоществования, и на приют для нуждающихся, и на поддержку трудов, являющих широкий и непреходящий интерес для всего мира. Драгоценное собрание сочинений французских историков, начатое в тысяча семьсот тридцать седьмом году под наблюдением и на средства общины Святого Мавра^[46], будет служить в веках доказательством того, что доходы бенедиктинцев не всегда тратились на самоублажение и что не все члены монашеского ордена, формально выполнив обязанности, налагаемые на них уставом, погрязали в лени и праздности.

Не имея в те времена ни малейшего представления об общине Святого Мавра и ее ученых трудах, я мог только пробормотать несколько слов, выражающих согласие с мнением собеседника. Впоследствии мне довелось увидеть это драгоценное собрание в библиотеке одной знатной семьи, и, должен признаться, мне было стыдно, что в столь богатой стране, как наша, не было предпринято подобного издания отечественных историков, хотя оно могло быть выпущено в свет под наблюдением знатных и ученых людей, дабы соперничать с французским, каковое парижские бенедиктинцы опубликовали на средства своего ордена.

– Я вижу, – с улыбкой заметил бывший монах, – ваши еретические предрассудки так сильны, что вы не хотите признать за нами, смиренными братьями, никаких заслуг – ни литературных, ни духовных.

– Все нет, сэр, – возразил я. – Поверьте, что мне в молодости монахи сделали много добра. Во время кампании тысяча семьсот девяносто третьего года^[47] я был на постое в монастыре во Фландрии, и никогда мне не жилось так приятно и беззаботно, как там. Да, они любили жизнь, эти фламандские каноники, и с большим сожалением покинул я их гостеприимный кров, зная, что почтенные хозяева мои попадут в лапы санкюлотам. *No fortune de la guerre!*²⁰

Бедный бенедиктинец опустил глаза и замолк. Нисколько этого не желая, я разбередил в его душе горестные воспоминания или, вернее, неосторожно коснулся струны, которая, будучи задета, долго не затихает. Но он, видно, так свыкся с этими горькими мыслями, что уже не давал им власти над собой. И я, со своей стороны, поторопился загладить невольную неловкость.

– Если при поездке сюда у вас была какая-нибудь цель, – сказал я, – и я мог бы без ущерба для собственной совести помочь вам, мне хотелось бы предложить свои услуги. – Признаюсь, я несколько подчеркнул выражение «без ущерба для собственной совести», так как чувствовал, что мне, доброму протестанту, пенсионеру, получающему от правительства половинный оклад жалованья, не пристало впутываться в какие бы то ни было розыски или вербовки, учиняемые бенедиктинцем в интересах иностранных духовных семинарий, равно как и помогать в чем-либо папистам, которых – безотносительно к тому, является ли Римский Папа блудницей вавилонской или нет, – мне не полагается ни поддерживать, ни поощрять.

Мой новый друг поспешил рассеять мои сомнения.

– Я хотел просить вас о помощи, сэр, – сказал он, – в таком деле, которое должно увлечь вас как антиквария и человека с пытливым умом. Предваряю вас, однако, что оно касается исключительно таких событий и лиц, от коих мы отделены двумя с половиной столетиями. Я слишком много выстрадал от бурных потрясений в стране, где я родился, чтобы опрометчиво затевать смуты в стране моих предков.

Я уверил его в моей готовности помогать ему во всем, что не противоречит моей присяге или религии.

– Мое дело, – сказал он, – не повредит вашим обязанностям. Да хранит Господь ныне здравствующую в Британии королевскую семью. Она, правда, не принадлежит к династии, за воцарение которой тщетно боролись и страдали мои предки, но Провидение, которое возвело

²⁰ Воинское счастье переменчиво! (фр.)

на престол нынешнего короля, даровало ему добродетели, необходимые для нашего времени, – твердость, неустранимость, истинную любовь к своей стране и прозорливое понимание опасностей, ей угрожающих. О религии, господствующей в стране вашей, скажу только, что довольствуюсь упованием на высшую силу, которая в своих таинственных предназначениях отторгла ее от истинной церкви, но впоследствии в благое время и благим путем возвратит ее в священное лоно. А усилия отдельного человека, такого безвестного и ничтожного, как я, могли бы только замедлить, но никак не ускорить наступление сего многочисленного события.

– Разрешите в таком случае осведомиться, сэр, – спросил я, – что привело вас в нашу страну?

Прежде чем ответить, мой собеседник вынул из кармана сплюснутую, как мне показалось, тетрадь такого примерно формата, как бывают книги приказов по полку. Придвинув к себе поближе одну из свечей (Дэвид, в знак уважения к приезжему, расщедрился и зажег две), монах погрузился в чтение записей.

– Среди развалин западного крыла монастырской церкви, – начал он, смотря на меня, но временами, чтобы не ошибиться, заглядывая в приоткрытую тетрадь, – под обвалившейся аркой сохранилась часовенка и рядом с ней – полуразрушенная готическая колонна, когда-то поддерживавшая великолепный свод, обломки которого сейчас завалили все западное крыло.

– Кажется, я знаю, – сказал я, – о чем вы говорите. Не там ли, в боковой стене этой часовенки, находится большой камень с высеченным на нем гербом, который до сих пор никем не разгадан?

– Вы правы, – сказал бенедиктинец и, сверившись со своей тетрадью, пояснил: – В правой части щита – герб Глендинингов, а именно – рассеченный ломаной линией прямой крест, а в левой – герб Эвенелов с тремя колесиками от шпор; это две древние, сейчас почти вымершие семьи – щит *party per pale*²¹.

– Я начинаю думать, – сказал я, – что со всеми частностями этого древнего сооружения вы знакомы не хуже, чем каменщик, который его строил. Но если ваши сведения верны, то у человека, разобравшего то, что изображено на гербе, глаза гораздо острее моих.

– Его глаза, – ответил монах, – давно смежила смерть, а когда он изучал этот герб, памятник, вероятно, был в лучшем состоянии; а может быть, он почерпнул эти сведения из местных преданий.

– Уверяю вас, – возразил я, – что подобных преданий сейчас не существует. Я не раз пытался выведать у самых старых в округе людей, не знают ли они, что изображено на этом гербе, – и безуспешно. Странно, что разгадку вы нашли в чужой стране.

– Эти незначительные с виду обстоятельства, – сказал приезжий, – в свое время считались крайне важными. Они были священны для изгнанников, которые хранили их в памяти как самое дорогое, чего им уже никогда воочию не увидеть. Точно так же возможно, что на Потомке или на Саскуиханне^[48] можно обнаружить такие предания о различных уголках Англии, какие в родных местах давно позабыты. Но вернемся к моему делу. В тайнике, который скрыт под этим камнем с гербом, хранится сокровище, и я пустился в путь для того именно, чтобы откопать его.

– Сокровище! – отозвался я в изумлении.

– Да, – повторил монах, – неоценимое сокровище для тех, кому ведомо, как им пользоваться.

Признаюсь, у меня при слове «сокровище» зазвенело в ушах и перед глазами возник этаким изящный кабриолет с грумом в лазурной с пурпуром ливрее и в лакированной шляпе с кокардой. Одновременно послышался громкий голос, возвещавший: «Экипаж капитана Клат-

²¹ Разделен надвое вертикальной полосой (англ. и лат.).

тербака, да поживее!» Но я устоял против дьявольского искушения и обратил нечистого в бегство.

– Насколько мне известно, – заявил я, – все зарытые сокровища становятся достоянием короля или собственника земли, и мне, отставному капитану королевской пехоты, не пристало участвовать в аванюре, которая может для меня кончиться вызовом в казначейский суд.

– Сокровище, что я ищу, – с улыбкой возразил приезжий, – не вызовет зависти у королей и дворян. Я разыскиваю сердце праведного человека.

– Понимаю вас, – воскликнул я, – это какая-то реликвия, утраченная в треволнениях Реформации. Я знаю, какое сугубое значение придают люди вашего толка мощам и останкам святых. Я сам видел трех царей-волхвов^[49].

– Реликвия, которую я ищу, несколько другого рода, – сказал бенедиктинец. – Достойный родственник мой, о котором я упоминал, считал наивысшим удовольствием в свободные часы записывать предания из истории своей семьи, и главным образом – хронику удивительных происшествий, связанных с первыми проявлениями раскола в шотландской церкви. Он всей душой отдался этому труду и под конец решил, что сердце одного из его предков – героя его повествования – не должно долее оставаться в стране еретиков, ныне оставленной всеми его родичами. Зная, где эта драгоценная реликвия замурована, он принял решение отправиться за ней на родину. Но преклонные лета и болезнь воспрепятствовали его поездке, и на ложе смерти он взял с меня слово, что эту священную задачу я выполню вместо него. Однако весьма значительные события, одно за другим, – разгром нашей общины и изгнание, – вынудили меня в течение многих лет откладывать взятую на себя миссию. Зачем, в самом деле, переносить останки столь святого и достойного человека в страну, где и религия и добродетель стали посмешищем для святотатцев! Но теперь у меня есть обиталище, каковое, лыщу себя надеждой, будет постоянным, если есть что-либо постоянное на этой земле. Туда я перенесу сердце праведника и рядом с его гробницей уготовлю могилу для самого себя.

– Это был, как видно, редкостной души человек, – заметил я, – если память о нем спустя столько поколений внушает такое глубокое чувство благоговения.

– Он был, как вы истинно именуете его, редкостной души человек – праведник, – продолжал монах, – он жил самым праведным образом, исповедовал праведное учение, бескорыстно и самоотверженно жертвовал всеми благами жизни ради своих убеждений и дружбы. Но вы прочтете историю его жизни. Я буду рад одновременно дать пищу вашей любознательности и показать, как я ценю ваше сочувствие, если вы будете так добры и поможете мне исполнить мой долг.

Я ответил бенедиктинцу, что развалины, в которых он предполагает вести розыски, находятся за пределами мирского кладбища, и, будучи в самых дружеских отношениях с кладбищенским сторожем, я уверен, что смогу помочь гостю привести в исполнение его благочестивые помыслы.

После этого мы пожелали друг другу доброй ночи, а на следующее утро я постарался увидеться со сторожем, который за скромную мзду охотно дал согласие на наши розыски, при обязательном условии, впрочем, что он сам будет при них присутствовать, чтобы незнакомец не унес какой-нибудь драгоценности.

– Пусть берет, что ему приглянется, из костей, черепов и сердец, – сказал сей страж разрушенного монастыря, – такого добра там сколько угодно, если он до него падок. Но черт меня побери, если я дам ему увезти что-нибудь из дароносиц или кубков, поповской золотой или серебряной посуды.

Кроме того, сторож потребовал, чтобы раскопки происходили ночью, когда они не будут привлекать внимания и не вызовут ничьих толков.

Весь следующий день мы с моим новым знакомцем провели так, как подобало любителям седой древности. Утром мы, останавливаясь в каждом уголке, снова и снова обошли величе-

ственные развалины, потом как следует пообедали у Дэвида, после чего совершили прогулку по окрестностям, обозревая памятники старины, упоминающиеся в старинных хрониках или в новейших исследованиях. Ночь застигла нас среди развалин. Хотя у сторожа был с собою потайной фонарь, мы то и дело натыкались на обломки готических надгробий, «которые, как, без сомнения, полагали усопшие, должны в неприкосновенности возвышаться над их прахом до самого Страшного суда».

Не скажу, чтобы я отличался чрезмерным суеверием, однако то, что мы делали, было мне как-то не по душе. Есть что-то нечестивое в нарушении немой и священной таинственности могил, да еще глубокой ночью. Спутники мои не разделяли этого чувства: монах горел желанием выполнить задачу, ради которой он приехал, а сторож пребывал в привычном равнодушии ко всему окружающему. Вскоре мы очутились в развалинах придела, где, по сведениям бенедиктинца, находился склеп семьи Глендининг, и стали тщательно по его указанию расчищать один из загроможденных обломками углов. Если бы отставной капитан мог сойти за пограничного барона старого времени, а бывшего монаха девятнадцатого века можно было бы принять за чернокнижника шестнадцатого столетия, мы бы с успехом могли разыграть сцену поисков лампы Майкла Скотта^[50] и его магической книги. Но сторож в этой группе был бы лишним²².

Не так уж долго поработали бенедиктинец со сторожем, как вдруг они наткнулись на гладко обтесанные плиты, которые, по-видимому, когда-то составляли небольшую раку, ныне полуразрушенную и сдвинутую со своего места.

– Будем действовать с осторожностью, друг мой, – сказал чужеземец, – дабы не повредить то, ради чего я приехал.

– Плиты первый сорт, – заметил сторож, – как здорово обтесаны. Да, чтоб монахам угодить, надо было попотеть!

Минуто спустя он воскликнул:

– Моя лопата на что-то наткнулась – и не камень и не земля!..

Монах нагнулся, чтобы помочь ему.

– Как бы не так! Находку-то я нашел, – проворчал сторож, – и нечего тут половинить или четвертить! – И он вытащил из-под обломков небольшой свинцовый ящичек.

– Вы обманываетесь, друг мой, – обратился к нему бенедиктинец, – если надеетесь найти там что-нибудь, кроме останков человеческого сердца, заключенных в порфиновый ларчик.

Тут вмешался я, как лицо незаинтересованное, и, взяв ящичек из рук сторожа, напомнил ему, что, если бы в нем даже таился клад, он все равно не стал бы собственностью того, кто его нашел. Так как рассмотреть содержимое ящичка в такой темноте было невозможно, я предложил всем вместе отправиться к Дэвиду и там, у камина, при свете продолжить наши изыскания. Приезжий попросил нас пойти вперед и сказал, что последует за нами через несколько минут.

Как видно заподозрив, что эти несколько минут будут употреблены на дальнейшие поиски сокровищ, спрятанных в подземелье, старина Маттокс обходным путем прокрался назад, чтобы проследить за бенедиктинцем, но, воротившись, шепнул мне, что «джентльмен на коленях, один среди голых камней, молится что твой святой!».

Я тоже крадучись вернулся к месту раскопок и увидел нашего гостя, погруженного в молитву, как описал мне Маттокс. Насколько я мог уловить, говорил он по-латыни, и, слушая, как негромкая, но торжественная речь его разносится над развалинами, я невольно подумал

²² Это одно из тех мест, которые теперь должны производить странное впечатление ввиду того, что нынче каждый знает, что автор романа «Монастырь» и автор «Песни последнего менестреля» – одно и то же лицо. До того, как было сделано это признание, автор бывал вынужден грешить против хорошего тона, чтобы опровергать часто повторявшееся утверждение, что сочинитель «Уэверли» проявляет непонятную сдержанность к сэру Вальтеру Скотту, известному, на худой конец, своей плодовитостью. У меня было большое желание изъять эти места из романа, но честнее будет, если я объясню, почему так получилось. (Примеч. авт.)

о том, сколько же лет прошло с тех пор, как эти камни не слышали богослужений, ради которых они были сюда привезены и ценой огромного труда, искусства и затраты времени и денег превращены в храм.

– Пойдем, пойдем, Маттокс, – сказал я, – оставим его одного. Не наше это дело.

– Не наше, капитан, – ответил Маттокс, – а все-таки приглядеть за ним не мешает. Отец у меня, царство ему небесное, лошадьми барышничал и частенько вспоминал, что его за всю-то жизнь один раз только объегорил на кобылке виг какой-то из западного края, из Килмарнока, что ли, который к стакану виски, бывало, не притронется, не помолившись. Но этот джентльмен из католиков, как мне сдается?

– Тут вы не ошиблись, Сондерс, – ответил я.

– Знаю, видел я двух или трех из этой братии, когда они заявили сюда – лет двадцать тому уже будет. Они бесновались как угорелые, когда увидели на кладбище бюсты да головы монахов и разных монашек, кланялись им, как старым знакомым... А тот, вы видели, не шевелился, точно камень надгробный! Не скажу, чтобы я водился с католиками, разве понаслышке знал их, да и в городке у нас был только один стоящий – это старый Джок из Пенда. Его-то мудрено было бы найти в церкви в глухую ночь за молитвой, да еще коленями на холодном камне. Нет, ты Джоку подавай такую церковь, чтобы там камин топился. Немало мы с ним проказничали в трактире, подгулявши-то, а когда он помер, я бы и похоронил его как полагается. Но не успел я для него выкопать славную могилку, как откуда ни возьмись налетели нечестивцы, собратья его, схватили тело, увезли вверх по реке, да и похоронили, верно, по своему обряду – им лучше знать как. А я бы дорого не взял. Я бы лишнего с Джонни не собрал, ни с мертвого, ни с живого... Пойдите, видите, приезжий джентльмен идет.

– Повыше фонарь, посветите ему, Маттокс, – сказал я. – Неважная дорога, сэр.

– О да, – согласился бенедиктинец, – я мог бы повторить вслед за поэтом, которого вы, без сомнения, знаете...

«Вот было бы здорово, если бы я его знал!» – подумал я.

Монах продолжал:

Святой Франциск, спаси!

Как часто нынче

Я ночью спотыкаюсь о могилы!

– Вот мы и выбрались с кладбища, – сказал я. – Теперь уже недалеко от гостиницы, а там наверняка найдется приветливый огонек, чтоб подбодрить нас после ночных трудов.

Мы вошли в маленькую гостиную, куда Маттоксу тоже вздумалось бесцеремонно проникнуть, но Дэвид вытолкал его взащей, ругательски ругая любопытного проныру, который не дает господам побыть без помехи в гостинице первого разряда. Как видно, трактирщик свое присутствие не считал навязчивым, потому что ничтоже сумняшеся подошел к столу, на который я поставил свинцовый ящичек, ставший, конечно, ломким и негодным от долгого лежания в земле. Мы его открыли и обнаружили внутри порфиновый ларец, как предупредил нас бенедиктинец.

– Представляю себе, джентльмены, – сказал он, – что ваше любопытство не будет удовлетворено или, вернее, ваши подозрения не рассеются, пока я не открою эту урну, хотя здесь нет ничего, кроме высохших останков сердца, когда-то исполненного благороднейших чувств.

Он с большой осторожностью открыл урну: находившиеся там иссохшие останки давно утратили всякое сходство с человеческим сердцем – очевидно, примененные специи не смогли сохранить его форму и цвет, хоть и уберегли драгоценную реликвию от полного разрушения. Нам, во всяком случае, было ясно, что утверждение чужестранца оправдалось и мы видим перед собой то, что когда-то было человеческим сердцем, так что Дэвид с готовностью обещал

употребить все свое влияние в деревне – а оно было не менее значительно, чем влияние самого мирового судьи, – чтобы прекратить всякие вздорные толки. В дальнейшем ему было угодно оказать нам честь и самого себя пригласить к нашему столу. Угостившись львиной долей двух бутылок хереса, он не только благословил всем своим авторитетом похищение реликвии, но, я убежден, разрешил бы незнакомцу тотчас увезти все аббатство целиком, если бы не изрядные доходы, которые так и текли в его заведение благодаря соседству с монастырскими руинами.

Завершив с успехом миссию, ради которой он прибыл в страну предков, бенедиктинец объявил о своем намерении покинуть нас на следующее утро, но настойчиво просил меня позавтракать с ним перед отъездом. Мне пришлось согласиться, и, когда мы встали из-за стола, монах отозвал меня в сторону, вытащил из кармана объемистую связку бумаг и вручил ее мне.

– Вот, – сказал он, – капитан Клаттербак, подлинные мемуары шестнадцатого века, описывающие с новой и, как мне кажется, любопытной точки зрения нравы тех времен. Я склонен считать, что опубликование этих записей будет с признательностью встречено британской читающей публикой, и охотно уступаю вам все доходы, которые могут быть получены от сего издания.

Я несколько подивился этому заявлению и сказал, что почерк кажется мне слишком современным для отдаленной эпохи, к которой он относит мемуары.

– Поймите меня правильно, сэр, – возразил монах, – я не хочу сказать, что эта рукопись сохранилась в таком виде с шестнадцатого века, я только говорю, что мемуары составлены на основании подлинных документов того времени, хотя написаны они во вкусе и по правилам сегодняшнего дня. Труд этот начат моим дядюшкой, а я на досуге приступил к продолжению и завершению записей, отчасти для усовершенствования моего английского литературного слога, отчасти – чтобы избавиться от меланхолии. Вы сами увидите, где обрывается повествование моего родича и начинается мое. Пишем мы о разных людях, да и эпоха не одна и та же.

Не возвращая ему рукописи, я выразил сомнение в том, подобает ли доброму протестанту издавать или хотя бы руководить изданием сочинения, пропитанного, вероятно, духом католицизма.

– В этих листках, – ответил бенедиктинец, – столкновения умов и чувств выражены так, что честный человек любых религиозных убеждений, как мне кажется, оспаривать ничего не будет. Я помнил, что пишу для страны, которая, к несчастью, отделилась от католической веры, и стремился не сказать ничего такого, что могло бы дать основания для обвинения меня в пристрастности – при условии правильного толкования. Но если вы, сличив мое повествование с источниками, к которым я вас отсылаю – здесь, в пакете, вы найдете множество подлинных документов, – все же придете к выводу, что я был пристрастен к моей вере, безоговорочно разрешаю вам сии погрешности исправить. Признаюсь, однако, что не усматриваю у себя подобной преднамеренности и скорее опасаясь другого – не сочтут ли католики, что я должен был скрыть упадок дисциплины в их рядах, который предшествовал и отчасти вызвал широко распространившийся раскол, именуемый вами Реформацией, и, может быть, мне действительно следовало предать забвению эти вопросы. Тут коренится одна из причин того, почему я решил, что мои записи должны быть опубликованы в чужой стране и отданы в печать через посредство человека постороннего.

На это мне отвечать было нечего, и я мог только сослаться на отсутствие способностей, необходимых для задачи, которую святой отец желал на меня возложить. Тут ему было угодно наказать меня уйму любезностей, что вряд ли оправдывалось нашим кратковременным знакомством и каковы скромность не разрешает мне повторить. Под конец он дал такой совет: если я не смогу преодолеть некоторые свои сомнения, я должен обратиться к помощи заслуженного литератора, опыт которого восполнит мои пробелы. На этом мы расстались с уверениями во взаимной преданности, и с тех пор я больше ничего о нем не слышал.

Несколько раз пытался я как следует разобраться в ворохах исписанной бумаги, столь удивительным образом попавших в мои руки, но приступы необъяснимой зевоты не дали мне дочитать рукопись до конца. Изверившись в самом себе, я наконец притащил все это в наш местный клуб, где к записям бенедиктинца отнеслись куда более благожелательно, чем на это оказался способен отставной капитан с раздражительным характером. В клубе единодушно признали, что сей труд превосходен, и уверили меня, что я совершу самое тяжкое преступление по отношению к нашему цветущему Кеннаквайру, если не дам ходу сочинению, проливающим столь лучезарный свет на историю древнего монастыря Святой Марии.

Наслушавшись подобных отзывов, я наконец стал сомневаться в справедливости собственного мнения; и действительно, слушая, как наш достойный пастор своим звучным голосом читает отрывки из этих записей, я чувствовал несколько не большую усталость, чем внимая его проповедям. Вот и видно, как велика разница – самому ли читать рукопись, с трудом продираясь сквозь ее дебри, или, как говорит один персонаж в пьесе, «слушать этот же текст, когда читает другой»; одно дело переплывать бухточку на лодке и совсем другое – шлепать по ней пешком по колено в грязи.

При всем этом предстояла мудреная задача: надо было найти редактора, который бы исправил ошибки и потрудился над языком рукописи, что, по мнению школьного учителя, было совершенно необходимо.

С тех самых пор, как деревья пошли выбирать себе царя, никогда еще, кажется, не было так мало желающих взяться за почетное дело. Пастор не соглашался расстаться со своим уютным креслом у камина, мировой судья ссылаясь на свое высокое судейское достоинство и на предстоящую вскоре большую ежегодную ярмарку – та и другая причины препятствовали его поездке в Эдинбург для переговоров об издании рукописи бенедиктинца. Один только школьный учитель оказался более податливым и, вероятно стремясь уподобиться прославленному Джедедии Клейшботэму^[51], выразил желание взять на себя эту важную комиссию. Но сему намерению воспротивились три зажиточных фермера, сыновья которых приносили учителю за полный пансион вместе с обучением по двадцать фунтов в год с головы, – и потому литературные мечты сельского педагога увяли, как цветы на морозе.

Таковы обстоятельства, любезный сэр, побудившие меня внять указанию нашего маленького военного совета и обратиться к вам, в надежде, что вы не откажетесь заняться этим делом, которое весьма близко к сфере, где вы заслужили известность и славу. Просьба моя заключается в том, чтобы вы ознакомились с прилагаемой рукописью, вернее, проверили ее и подготовили к напечатанию с помощью таких исправлений, добавлений и сокращений, какие найдете необходимыми. Прошу не гневаться за напоминание, но даже самый глубокий колодец иссякнуть может и самый лучший гренадерский корпус, как говаривал наш старый бригадный генерал, может быть стерт в порошок. Сии замечания вам повредить не могут, а что до награды, то наперед возьмемся и выиграем сражение, а добычу поделим уже под барабанный бой. Надеюсь, что вы не обидитесь на меня. Я простой солдат, к комплиментам непривычный. Хотел бы добавить, что мне было б лестно стоять рядом с вами на передовой линии, то есть поставить свое имя вместе с вашим на титульном листе.

Засим, сэр, имею честь быть неизвестным вам вашим покорным слугою.

Катберт Клаттербак

*Селение Кеннаквайр....апреля 18** года*

Автору «Уэверли» и др., через любезное посредство мистера Джона Баллантайна, Ганновер-стрит, Эдинбург.

Ответ автора «Уэверли» на предшествующее письмо капитана Клаттербака

Любезный капитан!

Пусть вас не удивляет, что, несмотря на сдержанность и официальность вашего обращения ко мне, я отвечаю вам попросту и без затей. Вызвано это тем, что и происхождение и родину вашу я знаю даже лучше, чем вы сами. Полагаю, что попаду в точку, утверждая, что достопочтенный род ваш происходит из страны, которая дарует много удовольствия и пользы тем, кто успешно ведет с ней дела. Я имею в виду ту часть *terra incognita*²³, которая носит название Утопии. Хотя ее изделия многими осуждаются и именуются никчемной роскошью (даже теми, кто без зазрения совести тратится на чай и табак), эти предметы роскоши, как и многие другие излишества, имеют большое распространение и втихомолку услаждают даже тех, кто с величайшим гневом и презрением открыто обрушивается на них в обществе.

Нередко самые горькие пьяницы первыми приходят в ужас от одного запаха спирта; пожилые незамужние дамы сами сплошь и рядом возмущаются сплетницами; на книжных полках у весьма почтенных с виду джентльменов обретаются книги, от которых честным людям делается совестно, – а сколько у нас таких знакомых, я говорю не о самых ученых и образованных, а о желающих казаться таковыми! Чуть заперлись они на задвижку в своем кабинете, натянули на уши бархатную ермолку, определили ноги в шлепанцы, и, если врасплох ворваться к ним, обнаружится, что они погружены в чтение романа – последней новинки из мира Утопии^[52].

Повторяю, подлинно ученые и образованные люди пренебрегают подобными предосторожностями и открывают попавший им в руки роман так же непринужденно, как свою табакерку. Приведу только один пример, хотя знаю их сотню. Встречались ли вы, капитан Клаттербак, с знаменитым Уаттом из Бирмингема? Полагаю, что нет, хотя, как будет видно из дальнейшего, он не преминул бы искать знакомства с вами. Один-единственный раз в жизни мне посчастливилось встретиться с ним – в действительности или в грезах, это значения не имеет.

Случилось так, что в одном доме собрались человек десять из светил нашего северного мира и среди них, кто знает, каким образом, оказался известный в вашей Утопии Джедедия Клейшботэм. Приехав в Эдинбург на рождественские каникулы, этот достойный человек стал здесь чем-то вроде местной знаменитости – этакий лев, которого на поводке тащат из дома в дом вместе с ряжеными, глотателями камней и прочими феноменами сезона, «показывающими по требованию публики свое несравненное искусство на семейных вечерах». В числе гостей был мистер Уатт, человек, который благодаря самобытному изобретательному уму открыл пути приумножить наши национальные богатства до уровня, опережающего предвидение и подсчеты самого изобретателя. Он придумал, как извлекать сокровища из глубочайших недр на свет божий, как придавать хилой человеческой руке мощь некоего африта^[53]. Он вызвал к жизни целые отрасли промышленности, подобно тому как пророк в пустыне одним мановением жезла отворил воду из камня. Он нашел, как избежать зависимости от морского прилива, с которым извечно считался каждый мореплаватель, он научил вести корабль без помощи того ветра, что пренебрегал приказаниями и угрозами самого Ксеркса^{24[54]}.

²³ Неведомой земли (*лат.*).

²⁴ Вероятно, богатый на выдумку автор имеет в виду старый стишок: Король сказал: «Плывем!» А ветер молвил: «Нет!» Наш школьный учитель (он же землемер) думает, что тут имеются в виду усовершенствования, которые мистер Уатт внес в паровой двигатель. (*Примеч. капитана Клаттербака.*)

И этот могущественный покоритель стихий, сократитель пространства и времени, волшебник, чьи таинственные механизмы произвели гигантский переворот, последствия которого – необычайные последствия – только сейчас начинают чувствоваться, чародей этот был не только крупнейшим ученым, который наиболее правильно применил на практике законы физики и математические расчеты, не только широко образованным человеком, но и одним из самых гуманных и отзывчивых людей на земле.

Он стоял, окруженный, как я уже говорил, небольшой плеядой северных литераторов – людей, отстаивавших свои убеждения и свою славу так же упорно, как наши полки ревниво оберегают свою известность, завоеванную в бою. Мне представляется, что я до сих пор как наяву вижу и слышу то, чего мне уж никогда более не увидеть и не услышать. Подвижный, ласковый, благожелательный Уатт на восемьдесят пятом году жизни с воодушевлением отвечал на все обращенные к нему вопросы и охотно делился с каждым своими познаниями.

Богатство и яркость его мысли сказывались в любой области. Один из собеседников был ученый-филолог – и Уатт заговорил с ним о происхождении письменности, как будто был современником Кадма^[55]. Другой был известный критик – и тут можно было подумать, что Уатт всю жизнь изучал политическую экономию и изящную литературу; о точных науках и говорить нечего – это была столбовая дорога, по которой Уатт шествовал величественной поступью.

И еще скажу вам, капитан Клаттербак, когда он разговаривал с вашим земляком Джедедией Клейшботэмом, можно было поклясться, что Уатт – современник Клеверза и Берли^[56], гонителей и гонимых, и может перечислить все выстрелы, которые драгуны послали вдогонку бегущим пресвитерианам. Мы в точности удостоверились, что от внимания Уатта не ускользнул ни один сколько-нибудь известный роман и что одареннейший муж науки был ревностным поклонником изделий вашей родины (уже упомянутой страны Утопии), другими словами, был таким же бессовестным и неисправимым пожирателем романов, как будто ему восемнадцать лет и он учится делать шляпки в мастерской у модистки.

Боюсь, что уже надоел вам, и в свое оправдание скажу: мне захотелось вспомнить тот восхитительный вечер и пожелать вам раз и навсегда отделаться от скромности, застенчивости и боязни прослыть пришельцем из страны обманчивых вымыслов. На вашу стихотворную строку из Горация – *Ne sit ancillae tibi amor pudori*²⁵ – я вам отвечу парафразой, где содержится намек на вас, любезный капитан, и на членов вашего клуба, за исключением высокочтимых священника и школьного учителя:

Не будь же строгим
К твореньям многим,
Будь к музам справедлив!
И у Гомера
Сюжет – химера,
Да он и сам ведь миф!

Определив вашу родину, я должен теперь, дорогой капитан Клаттербак, упомянуть о ваших родителях и дедах. Не думайте, что ваша страна чудес так малоизвестна, как можно было бы предположить по вашему стремлению умолчать о своем происхождении. Надо сказать, что это стремление всячески сократить свою связь с ней вы разделяете со многими вашими соотечественниками. Между ними и жителями нашего более материального мира есть разница: у вас выдают себя за земных жителей наиболее почитаемые из ваших собратьев, как старый шотландский горец Оссиан, как бристольский монах Роули^[57] и другие, между тем как большинство из тех, кто у нас отрекается от родины, таковы, что сама родина охотно отказалась бы

²⁵ Не стыдись полюбить служанку (лат.) – Гораций, «Оды» (II, 4).

от них. Подробности, которые вы сообщили мне касательно вашей жизни и службы, не ввели нас в заблуждение. Мы знаем, что изменчивость эфемерных существ, подобных вам, позволяет им преображаться в самых разных персонажей. Мы видели их и в персидских кафтанах, и в китайских шелковых халатах²⁶ и научились распознавать их под любой личиной. Да и можем ли мы пребывать в неизвестности относительно вашей страны и ее нравов, могут ли обмануть нас разные увертки ее обитателей, когда в ее пределы совершается не меньше экспедиций, чем упоминается у Перчеса^[58] или Хаклюйта^{27[59]}. А чтобы дать представление о таланте и неутомимости ваших первооткрывателей и путешественников, достаточно назвать имена Синдбада, Абулфуариса и Робинзона Крузо. Вот люди, созданные для проникновения в неизвестное. Если бы послать капитана Гринленда на поиски северо-западного пути или Питера Уилкинса^[60] – на обследование Баффинова залива, каких открытий можно было бы ожидать! Множество необыкновенных подвигов совершено вашими соотечественниками, а мы читаем о них и ни разу не попытались померяться с ними мужеством.

Я уклонился от своей цели – мне хотелось показать, что я знаю вас так же хорошо, как мать, которая не произвела вас на свет, потому что судьба Макдуфа тяготеет над всем вашим родом. Вы не рождены женщиной, разве что в переносном смысле, в каком о знаменитой Мэри Эджуорт^[61] можно сказать, что она, оставаясь в благословенном девичестве, является прародительницей лучшего английского семейства. Вы, сэр, принадлежите к издателям страны Утопии – лицам, к которым я питаю глубочайшее уважение. Да и как иначе можно к ним относиться, когда в этой корпорации находятся мудрый Сид Ахмет Бенинхали^[62], круглолицый президент клуба «Зритель», бедняжка Бен Силтон и многие другие, которые уподоблялись привратникам, введя к нам в дом произведения, услаждавшие самые тяжелые и окрылявшие самые светлые часы нашей жизни.

По моим наблюдениям, издателей той категории, к коей я имею смелость отнести вас, неизменно сопровождает цепь счастливых случайностей, благодаря которым именно в ваших руках оказываются произведения, впоследствии любезно отдаваемые вами читающей публике. Один счастливцев гуляет по берегу моря, и волна швыряет ему под ноги небольшой цилиндрический сосуд или шкатулку с сильно пострадавшей от морской воды рукописью, которую с большим трудом удастся расшифровать, и т. д.²⁸ Другой заходит в бакалейную лавочку купить фунт масла, и смотри пожалуйста: бумага, в которую завернули его покупку, представляет собой рукопись каббалиста²⁹. Третьему удастся получить у хозяйки меблированных комнат бумаги, оставшиеся в старинном бюро после умершего жильца. Все это, разумеется, возможные происшествия, но почему-то они приключаются запросто с издателями вашей страны и столь редко со всеми остальными. О себе скажу, что во время моих одиноких прогулок у моря я ни разу не видел, чтобы оно выбросило на берег что-нибудь, кроме водорослей, разве что мертвую морскую звезду. Моя квартирная хозяйка еще никогда не преподносила мне никаких документов, кроме своих проклятых счетов, а самой занимательной находкой в области оборточной бумаги был один из любимых фрагментов моего собственного романа, содержащий унцию табаку.

Нет, капитан, источники, из которых я почерпнул умение увлечь читателей, достались мне не в подарок от случайностей. Я с головой зарылся в библиотеки, чтобы из старых небылиц

²⁶ См. «Персидские письма»* и «Гражданин мира»**. (Примеч. авт.)* «Персидские письма» принадлежат французскому писателю Ш. Монтескье (1689–1755).** «Китайские письма, или Гражданин мира» – произведение английского писателя О. Голдсмита (1728–1774).

²⁷ См. «Воображаемые путешествия». (Примеч. авт.)

²⁸ См. «Историю Автоматеса»*. (Примеч. авт.)* «История Автоматеса» – по всей вероятности, одна из повестей второго степенного английского писателя Ричарда Гриффита (1714?–1788), иногда выступавшего под псевдонимом Автоматес.

²⁹ «Приключения гиней»*. (Примеч. авт.)* «Приключения гиней» – книга английского писателя Ч. Джонстона (1719–1800). Это серия новелл, связанных с владельцами гиней (монеты, достоинством в 21 шиллинг), переходящей из рук в руки.

создать новые, мои собственные; перевернул такие фолианты, что, если судить по закорючкам, которые мне приходилось разгадывать, они бы могли быть каббалистическими рукописями Корнелия Агриппы^[63], хотя я ни разу не видел, чтобы «открылась дверь и появился дьявол»^{30[64]}. Но всех безмолвных обитателей библиотек тревожил я упорством своих посещений.

Меня завидев, убегал паук,
И страшен мухам был знаток наук.

Из гробницы учености я воспарил, подобно магу в персидских сказках, пробывшему двенадцать месяцев в пещере; но только я не вознесся по его примеру над собравшейся толпой, а смешался с нею, локтями проложил себе путь от самых высших слоев общества до самых низших, подвергаясь презрению или, еще того хуже, высокомерному снисхождению со стороны одних и грубой фамильярности других. И для чего все это, спросите вы? Чтобы собрать материалы для одной из тех рукописей, которые в вашей стране так часто попадают в руки автора случайно, — другими словами, чтобы написать хороший роман.

«О афиняне, сколь тяжко нам приходится трудиться, чтоб одобренье ваше заслужить!»

На этом, дорогой Клаттербак, я мог бы и остановиться — это было бы трогательно и почтиительно по отношению к уважаемой публике. Но я не хочу вас обманывать; хотя обман, простите за это замечание, — ходячая монета в вашей стране. Истина заключается в том, что я учился и жил для поощрения своей любознательности и приятного препровождения времени. Пусть я за истекшие годы, в одном или другом обличье, часто — быть может, чаще, чем позволяло благоразумие, — появлялся перед публикой, все же я не вправе ожидать для себя особой благосклонности, заслуженной теми, кто жертвует все свое время и весь свой досуг на просвещение и забаву своих ближних.

После такого прямого заявления, мой дорогой капитан, разумеется, ясно, что я с благодарностью приму рукопись, которая, как отметил ваш бенедиктинец, состоит из двух частей, различных по сюжету, стилю и эпохе. Но я очень сожалею, что не могу удовлетворить ваше литературное тщеславие и согласиться на то, чтоб на титульном листе стояло ваше имя. Откровенно объясню вам причину моего отказа.

Издатели в вашей стране до такой степени благодущны и бездеятельны, что неоднократно навлекли на себя позор тем, что, забыв своих помощников, которые вначале привлекли к ним внимание и благосклонность публики, в дальнейшем дали использовать свои имена обманщикам и шарлатанам, живущим за счет чужих мыслей. Например, мне стыдно сказать, как мудрый Сид Ахмет Бенинхали, по наущению некоего Хуана Авельянеды^[65], бесцеремонно обошелся с талантливым Мигелем Сервантесом и опубликовал вторую часть приключений своего героя, прославленного Дон Кихота, без ведома и участия вышеупомянутого автора.

Правда, арабский мудрец вспомнил о своем долге и впоследствии сочинил весьма правдоподобное продолжение подвигов ламанчского рыцаря, в котором упомянутый Авельянеда из Тордесильяса подвергается чувствительному наказанию. В этом отношении вы, горе-издатели, напоминаете дрессированную обезьянку, с которой один хитроумный старый шотландец сравнивал Иакова I^[66]: «Если Жако в руке у тебя, ты можешь заставить его укусить меня; если Жако в руке у меня, то я могу заставить его укусить тебя».

Но, несмотря на *amende honorable*³¹, принесенную Сидом Ахметом, его временная измена свела в могилу хитроумного идалго Дон Кихота, если можно назвать мертвым того, чья память бессмертна. Сервантес убил его, дабы он снова не попал в преступные руки. Ужасное, но справедливое последствие измены Сиды Ахмета.

³⁰ См. балладу Саути о юноше, читавшем книги кудесника. (Примеч. авт.)

³¹ Повинную (*фр.*).

Можно привести другой пример, более современный и гораздо менее значительный. Я с прискорбием замечаю, что мой старый знакомый Джедедия Клейшботэм зашел в своем дурном поведении так далеко, что покинул своего партнера и стал действовать в одиночку. Боюсь, что бедный педагог получит мало пользы от новых союзников, разве что будет развлекаться спорами среди читателей, да и среди джентльменов в длинных мантиях, недоумевающих, кто он такой.

Посему примите к сведению, капитан Клаттербак, что я научен этими примерами великих людей и принимаю вас в компаньоны, но без права голоса. Не давая вам разрешения выступать от имени товарищества, которое мы собираемся учредить, я на титульном листе заявлю о своей собственности, поставлю мой собственный знак на принадлежащее мне литературное имущество. И подделка сего знака, как то удостоверяет мой стряпчий, будет таким же предосудительным деянием, как подделка, например, подписи врача, от чего предостерегают лекарственные ярлычки на склянках, где особо оговорено, что подделка является уголовным преступлением. Следовательно, мой дорогой друг, если ваше имя когда-нибудь появится на титульном листе, а моего имени там не будет, читатели будут знать, с кем они имеют дело.

Считаю ниже своего достоинства прибегать к доводам или угрозам, но вам должно быть ясно, что, с одной стороны, вы обязаны своим литературным бытием единственно мне, а с другой – вы находитесь целиком в моем распоряжении. Я могу по своему желанию лишить вас ренты, вычеркнуть ваше имя из списков пенсионеров, более того – могу даже убить вас, и никто не привлечет меня к ответственности. Это звучит неучтиво для слуха джентльмена, который прослужил в армии в течение всей войны, но я полагаю, что вы не будете на меня в обиде.

Теперь, любезный сэр, обратимся к нашей задаче и постараемся как можно тщательнее переделать рукопись вашего бенедиктинца, чтобы она отвечала вкусам нашего критического века. Вы увидите, что я широко воспользовался разрешением бенедиктинца и изменил все, что слишком льстило римской церкви, которая мне ненавистна хотя бы из-за одних только постов и покаяний.

Наш читатель, уж наверно, потерял терпение, и мы должны вместе с Джоном Беньяном^[67] признать, что

Его в передней долго мы держали
И факелом во мраке освещали.

Итак, прощайте, любезный капитан. Передайте мой почтительный поклон пастору, школьному учителю, мировому судье и всем членам вашего дружного клуба в Кеннаквайре. Я никогда не видел и не увижу никого из них и все же думаю, что знаю их лучше, чем кто-либо другой из рода человеческого. В скором времени я вас представлю моему жизнерадостному приятелю, мистеру Джону Баллантайну из Тринити-гроув; вы застанете его еще разгоряченным после большой перепалки с одним из его собратьев издателей³². Да будет мир между ними! Больно уж гневливое наше ремесло, и *irritable genus*³³ включает книгопродавцев наравне с сочинителями книг.

Еще раз прощайте!

Автор «Уэверли»

³² После того как в Лондоне были опубликованы поддельные «Рассказы трактирщика»*, о чем я уже упоминал, мистер Джон Баллантайн, издатель подлинных «Рассказов», сильно повздорил с вмешавшимся в это дело книгопродавцем. Каждый утверждал, что имел дело с настоящим Джедедией Клейшботэмом. (*Примеч. авт.*)* «Рассказы трактирщика». – Так назвал В. Скотт серию своих романов.

³³ Раздражительный род людей (*лат.*).

Глава I

*От них вся эта мерзость, от монахов!
От них невежество и суеверье
В невежественный, суеверный век.
Хвала Творцу! Целительною бурей
Развевал Он тлетворные пары.
Но ведь не все тут от блудницы этой,
Чей трон незыблем на семи холмах!^[68]
Скорей я с сэром Роджером!^[69] поверю,
Что старая колдунья Молли Уайт
Взвилась верхом на помеле с котом
И вызвала грозу минувшей ночью.*

Старинная пьеса^[70]

В названии деревни Кеннаквайр, упомянутой в рукописи бенедиктинца, то же кельтское окончание, что и в Траквайре, и Каквайре, и в других сложных именах. Премудрый Чалмерс^[71] производит это словечко «квайр» от названия извилистого потока; это заключение весьма правдоподобно, ибо близ деревни, о которой идет речь, река Твид извивается, как змея. Деревня эта издавна славилась великолепным монастырем Святой Марии, который был основан Давидом I^[72], королем Шотландии, в правление коего были воздвигнуты в том же графстве не менее великолепные обители Мелроза, Джебурга и Келсо. Дарственные на землю, которыми король обеспечил эти богатые братства, заслужили ему от летописцев-монахов прозвище святого, а от одного из его обедневших потомков – язвительный отзыв, что его святость дорого обошлась государству.

Весьма вероятно, впрочем, что Давид, монарх столь же мудрый, сколь и благочестивый, проявил такую большую щедрость в отношении церкви не из одних только религиозных побуждений, а сочетая с делами благочестия политические цели. Его владения в Нортумберленде и Камберленде после поражения в битве за Знамя^[73] стали ненадежными. А раз относительно плодородная долина Тевiotдейла могла оказаться границей его королевства, весьма вероятно, что он хотел сохранить хотя бы часть этих ценных владений, передав их в руки монахов, чья собственность долгое время оставалась неприкосновенной даже среди всеобщего разорения пограничной войны. Только таким образом король мог хоть как-то обезопасить и защитить земледельцев. И действительно, в течение нескольких веков владения этих аббатств представляли собой некую землю обетованную, где царили мир, тишина и спокойствие, тогда как остальная часть страны, захваченная дикими кланами и баронами-грабителями, являлась поприщем кровавых беспорядков и безудержного разбоя.

Но эта неприкосновенность монастырей не пережила эпохи объединения королевств. Задолго до этого времени войны между Англией и Шотландией утратили свой первоначальный характер борьбы между двумя государствами. Англичане стали проявлять стремление к захвату и подчинению, шотландцы же отчаянно и бешено защищали свою свободу. Это возбудило с обеих сторон такую злобу и ненависть, которая никогда еще не наблюдалась в их истории. А поскольку уважение к религиозным установлениям вскоре уступило место национальной вражде, подкрепленной пристрастием к грабежу, достояние церкви перестало быть священным и подвергалось нападениям с двух сторон. Впрочем, все же арендаторы и вассалы крупных аббатств обладали значительными преимуществами перед подданными светских баронов, которых до того извели постоянными призывами на военную службу, что они наконец

стали отчаянными вояками и утратили всякий вкус к мирным занятиям. Церковные же вассалы призывались к оружию только в случае поголовного ополчения, а в остальное время им представлялась возможность в сравнительном спокойствии владеть своими фермами и ленами. Поэтому они, конечно, больше понимали в земледелии и были богаче и просвещеннее, чем воинственные арендаторы дворян и неугомонных вождей, живших с ними по соседству.

Местожительством церковных вассалов были обычно небольшие деревни (или деревушки), в которых, ради взаимной помощи и совместной обороны, проживало от тридцати до сорока семей. Это поселение называлось городом, а земля, принадлежавшая различным семьям, населявшим город, звалась городской. Она обычно находилась в общинном владении, хотя и делилась на неравные участки, в зависимости от первоначальных вкладов членов общины. Та часть городской земли, которая годна была для пахоты и неуклонно возделывалась, звалась внутренними полями.

Поля эти удобрялись большим количеством навоза, что в какой-то мере предохраняло почву от истощения. Ленники засевали поля попеременно овсом и ячменем, собирая довольно значительные урожаи. Работали они всей общиной, но делили зерно после жатвы сообразно с имущественными правами каждого. Кроме того, у них были еще так называемые внешние поля, с которых тоже можно было время от времени собрать урожай, после чего земля забрасывалась, пока благодетельная природа не восстанавливала ее плодородную силу. Эти внешние участки выбирались любым ленником по его усмотрению из числа близлежащих равнинных и холмистых пространств, неизменно присоединявшихся к числу городских земель в качестве общинных выгонов. Тяжкие заботы по возделыванию этих дальних участков и полная неуверенность, что затраченный труд не пропадет даром, давали право всякому, кто на это решался, считать собранную жатву своей единоличной собственностью.

Затем еще оставались пастбища на вересковых пустошах (где в долинах часто росла хорошая трава), на которых летом пасся весь скот, принадлежащий общине. Городской пастух регулярно выгонял его с утра на пастбище и ежевечерне пригонял обратно – предосторожность весьма нелишняя, так как иначе скот очень скоро мог бы стать добычей какого-либо захватчика из соседей.

Все это заставило бы современных агрономов только в недоумении развести руками. Однако этот способ хозяйствования до сих пор еще не совсем изжит в некоторых отдаленных округах Северной Британии, а на Шетлендских островах он в полном ходу и по сей день.

Жилища церковных ленников были столь же примитивны, как их способ обработки земли. В каждой деревне (или, иначе, – в городе) имелось несколько небольших башен с зубчатыми стенами и обычно с одним-двумя выступающими углами, с бойницами у входа, прикрытого тяжелой дубовой дверью, утыканной гвоздями, и часто защищенного еще внешней решетчатой железной дверью. В этих небольших фортах обычно проживали наиболее состоятельные ленники со своими семьями; но при малейшей тревоге все жители близлежащих жалких хижин толпой устремлялись сюда же, чтобы составить гарнизон укрепления. При этих условиях нелегко было неприятельскому отряду проникнуть в деревню, так как жители ее умело владели луком и огнестрельным оружием, а башни были расположены так близко одна к другой, что их перекрестный огонь не давал возможности взять какую-либо из них приступом.

Внутреннее убранство домов, как правило, было весьма убогим, ибо считалось неразумным обставлять их иначе, возбуждая жадность незаконных соседей. Однако сами жители обнаруживали как в своей внешности, так и в обиходе такую степень образованности, достатка и независимости, которую едва ли можно было от них ожидать. Внутренние поля снабжали их хлебом и самодельным пивом, а стада крупного и мелкого скота – говядиной и бараниной (колоть ягнят или телят тогда считалось сумасбродством). В каждой семье в ноябре резали жирного бычка и солили мясо впрок на зиму; к этому хозяйка могла в торжественных случаях

добавить блюдо жареных голубей или откормленного каплуна; примитивный огородик снабжал их капустой, а река – лососиной, особо ценимой в Великом посту.

Топлива у них было вволю, так как болота давали торф, а остатки лесов продолжали удовлетворять их потребность в дровах и в необходимом строительном материале для домашних нужд. Вдобавок ко всем этим благам летом глава семьи нет-нет да отправлялся в лес и пристреливал себе там из ружья или самострела оленя. Отец духовник в этом случае редко отказывал виновному в отпущении греха, если только ему предоставлялась законная доля копченого окорока. Некоторые смельчаки шли еще дальше и, вкупе со своими домашними или присоединяясь к разбойным шайкам «болотных людей», совершали, по выражению пастухов, «налет-наскок» на общественные стада. Тогда бывало, что у женщин из той или иной всем известной семьи появлялись золотые украшения или шелковые платки, а завистливые соседи связывали эти приобретения с удачной экспедицией. Но такие действия расценивались настоятелем и братией монастыря Святой Марии как грех гораздо более тяжкий, чем «заимствование оленя у доброго короля», и монахи никогда не упускали случая осудить виновных и наказать их всеми доступными средствами, ибо от таких налетов жестоко страдало церковное имущество, а кроме того, это своеволие оказывало дурное влияние на мирные нравы вассалов.

Что касается образованности монастырских ленников, то можно было бы сказать, что с питанием дело у них обстояло значительно лучше, чем с учением, даже если принять во внимание то, что питались они весьма скудно.

И все же у них были кое-какие возможности для приобретения знаний, которых не было у их соседей. Монахи обычно жили в тесном общении со своими вассалами и ленниками и бывали как свои люди в более обеспеченных семьях, где они могли рассчитывать, что к ним отнесутся с двойным уважением – как к духовным отцам и как к светским властителям. И вот если какому-нибудь монаху случалось найти в семье способного мальчика, склонного к учению, то он, в целях ли воспитания будущего служителя церкви, а иногда и просто так, по доброте душевной или от нечего делать, приобщал его к таинствам чтения и письма и передавал ему и иные накопленные знания. Сами же зажиточные ленники, обладая большим досугом для размышлений, большей изворотливостью и большим желанием преуспеть на своих скромных участках, слыли у соседей людьми хитрыми и ловкими, заслуживающими уважения за их богатство; но в то же время их презирали за то, что они не блистали отвагой и мужеством, не в пример другим пограничным жителям. Поэтому они и жили особняком, общаясь только между собой и избегая знакомства с посторонними, больше всего на свете боясь быть вовлеченными в смертельные распри и бесконечные раздоры светских властителей.

Такова была, в общих чертах, жизнь в этих общинах. Во время злосчастных войн начала царствования королевы Марии^[74] они жестоко страдали от вражеских вторжений. Надо сказать, что англичане, сделавшись протестантами, не только не щадили церковные земли, но опустошали их даже с большим неистовством, чем светские владения. Однако мир 1550 года принес некоторое успокоение этому смятенному и растерзанному краю, и жизнь мало-помалу стала приходить в порядок. Монахи восстановили разоренные храмы, их вассалы покрыли новой крышей крепостные сооружения, снесенные неприятелем, а неимущие крестьяне вновь отстроили свои хижины (что было весьма нетрудно, так как для этого требовалось только немного дерна, сколько-то камней и несколько бревен из соседней рощи). Наконец, и скот был водворен обратно из чащ и перелесков, куда его загнали, дабы сохранить то, что от него осталось, и мощный бык во главе своего гарема и потомства двинулся вперед, чтобы вновь вступить во владение привычными пастбищами. И в результате для монастыря Святой Марии и его присных, учитывая время и обстановку, наступили несколько лет относительной тишины.

Глава II

*Провел он детство в той долине тихой...
Тогда там люди были – звуки рога
Алект^[75] злобной местность всю будили:
И здесь, где ручеек впадает в реку,
И там, в пустынных северных болотах,
Откуда пробивается исток
И где кулик хоронится пугливый.*

Старинная пьеса

Мы уже говорили, что большинство ленников проживало по деревням, входящим в их городские поселения. Но не всегда и не всюду это было так. Одинокая башня, в которую мы должны ввести читателя, представляла собой, во всяком случае, исключение из общего правила.

Она была невелика по размерам, но все же больше тех башен, которые обычно строились в деревнях, что было естественно, так как в случае нападения ее владелец мог рассчитывать только на свои собственные силы. Две-три жалкие хижины, лепившиеся у ее подножия, служили жильем для арендаторов и крепостных ленника.

Башня стояла на красивом зеленом холме, который неожиданно возник в самой горловине дикого ущелья – на холме, с трех сторон окруженном извилинами речки, что, конечно, значительно улучшало возможности его обороны.

Но особенная безопасность Глендеарга (так называлось это место) объяснялась его уединенным, почти скрытым от глаз положением. Для того чтобы достигнуть башни, надо было миля три пробираться вверх по ущелью и раз двадцать переходить через речку, которая извивалась по узкой долине, через каждые сто шагов наталкиваясь на обрыв или утес и оттого постоянно меняя направление. Склоны холмов по обе стороны долины чрезвычайно круты, почти отвесно вздымаются над речкой и как бы замыкают ее в свои барьеры. Проехать верхом по откосам немыслимо, и единственно возможный здесь путь – протоптанные овцами тропы. Нельзя было себе представить, что такая трудная, если не совершенно непроходимая, тропа ведет к какому-нибудь более внушительному строению, чем соломенный шалаш пастуха.

Впрочем, сама долина, хотя и пустынная, почти недоступная и бесплодная, не лишена была в то время своеобразной прелести. Трава, покрывавшая небольшое пространство низменности по берегам речки, была так густа и зелена, как будто целая сотня садовников подстригала ее не реже двух раз в месяц; притом этот зеленый покров был точно вышит узором из маргариток и полевых цветов, которые, несомненно, были бы срезаны садовыми ножницами. Ручей, то зажатый в теснине, то вырывавшийся на волю, чтобы свободно извиваться по узкой долине, беззаботно плясал по камням и отдыхал в водоемах, прозрачно-чистый и светлый, подобно тем исключительным натурам, которые идут по жизни, отступая перед непреодолимыми препятствиями, но отнюдь им не подчиняясь, стремясь все вперед, как тот кормчий, что умеет искусно лавировать при встрече с неблагоприятным ветром.

Горы (называемые горами в Англии, но именуемые в Шотландии крутояром) нависали стеной над маленькой долиной, местами обнаруживая серую поверхность камня, где потоки смыли растительность, местами участки, густо заросшие лесом и кустарником. Зелень эта, пощаженная овцами и крупным рогатым скотом ленников, пышно разрасталась вдоль высохшего русла потока или в глубине балки, оживляя и в то же время разнообразя пейзаж. Над этими отдельными пятнами лесов величественно вздымалась голая багряная вершина горы. Ее

необычайный цвет, густой и яркий, составлял резкий контраст, в особенности в осеннее время, с пышным убором дубовых и березовых рощ, листвою горного ясеня и терновника, ольхи и дрожащей осины, пестрым ковром спускавшихся вниз по склонам, и еще более с темно-зеленым бархатом травы, застилавшей низменные пространства узкой долины.

И все же, несмотря на все это красочное великолепие, местность не только нельзя было назвать величественной или прекрасной, но едва ли даже живописной или привлекательной. Сердце замирало в тоске от ее безмерного уныния, и путешественником невольно овладевал страх от неизвестности, куда он идет и что его ждет у конечной цели. Такие впечатления порой более поражают воображение, чем самые необыкновенные виды, ибо уверенность в близости гостиницы, где уже готовится заказанный вами обед, чрезвычайно много значит. Впрочем, все эти понятия свойственны гораздо более позднему времени. А в тот век, о котором мы повествуем, самые мысли о живописном, прекрасном или величественном и их оттенках были совершенно чужды как жителям Глендеарга, так и случайным его посетителям.

Но все же у людей той эпохи были свои представления об окружающей природе, соответствующие их времени.

Так, имя Глендеарг, что значит Красная долина, произошло, по-видимому, не только от пурпурного цвета вереска, в изобилии растущего по склонам обрывов, но и от темно-красного цвета утесов и каменных осыпей, которые на местном наречии именуются стремнинами. Другая долина, лежащая у истоков реки Этрик, тоже звалась Красной, и по тем же причинам. И, вероятно, в Шотландии найдется еще много долин с таким же названием.

Глендеарг, о котором мы ведем рассказ, не мог похвастаться большим количеством жителей, поэтому суеверное воображение – дабы он их не вовсе был лишен – населило его существами из потустороннего мира. Дикий и своенравный Темный человек из трясины (по-видимому, потомок северных карликов) как будто не раз появлялся в этой местности, в особенности после осеннего равноденствия, когда туманы сгустились и предметы бывали трудноразличимы. Также и шотландские феи, племя причудливых, раздражительных и озорных существ (племя порой капризно-благосклонное к смертным, но чаще им враждебное), по всеобщему убеждению, обосновалось в самом глухом углу этой долины. На это указывало и подлинное ее название – Корри-нан-Шиан, что на испорченном кельтском языке значит «пещера фей». Однако местные жители упоминали об этой пещере с большой осторожностью, избегая произносить ее название, так как существовало убеждение, распространенное во всех британских и кельтских провинциях Шотландии (да и поныне еще не изжитое в разных частях страны), что об этом своенравном племени фантастических существ не следует говорить ни хорошо, ни дурно, дабы не вызвать их раздражения. Молчания и тайны – вот чего они в первую очередь требуют от тех, кто случайно потревожил их во время развлечений или натолкнулся на их жилище.

Таким образом, лощина, где располагался укрепленный форт, именуемый башней Глендеарг (до которого можно было добраться, лишь поднимаясь от широкого дола реки Твид вверх по описанному нами ущелью), внушала необъяснимый ужас. За холмом, на котором, как мы уже сказали, стояла башня, каменистая гряда становилась еще круче, до такой степени сужаясь вдоль ручья, что тропинка, бегущая рядом с ним, оказывалась еле заметной. И наконец, ущелье завершалось бурным водопадом, который пенистой струей низвергался по двум или трем откосам в бездну. Однако далее в том же направлении, на плоскогорье, возвышавшемся над водопадом, расположено было обширное и топкое болото, посещаемое одними водяными птицами, дикое, пустынное и, казалось, бескрайнее. Оно в значительной мере охраняло обитателей долины от нападения соседей с севера.

Беспокойным и неутомимым «болотным людям» эта тряпина была хорошо известна и подчас служила убежищем. Они часто спускались вниз по ущелью, заходили в башню, просили о гостеприимстве и не получали в нем отказа. Но мирные обитатели башни все же относились к ним довольно сдержанно, принимая их так, как европейский поселенец мог бы принимать

отряд североамериканских индейцев, – не столько из радушия, сколько из страха, и от всей души мечтая, чтобы непрошеные гости поскорее его покинули.

Однако не всегда такое миролюбивое настроение царило в маленькой ложине, где стояла башня. Прежний ее владелец, Саймон Глендининг, гордился своим кровным родством с древней фамилией Глендонуайнов с западной границы Шотландии. Он любил рассказывать, сидя в осенние вечера у очага, о подвигах своих родичей, один из коих погиб, сражаясь рядом с храбрым графом Дугласом^[76], в битве при Отерборне. Повествуя об этом событии, Саймон обычно клал себе на колени старинный меч, принадлежавший его предкам еще до того, как кому-то из них вздумалось принять лен и верховное руководство от мирных монахов монастыря Святой Марии. В наше время Саймон так бы спокойно и существовал на доходы со своего имения, беззлобно ропща на судьбу, обрекшую его на бездействие и лишившую его возможности покрыть себя военной славой. Но в те времена для того, кто вел хвастливые речи, так часто возникала возможность, более того – необходимость подтвердить свои слова поступками, что Саймону Глендинингу вскоре пришлось вступить в ряды солдат обители Святой Марии и участвовать в гибельном походе, который завершился сражением при Пинки^[77].

Католическое духовенство было чрезвычайно заинтересовано в этой национальной розни, так как ее цель заключалась в том, чтобы воспрепятствовать брачному союзу между юной королевой Марией и сыном еретика Генриха VIII. Монахи призвали своих вассалов, дав им в руководители опытного вождя. Многие из них и сами взяли за оружие, выступив в поход под знаменем, изображающим коленопреклоненную женщину (она должна была олицетворять собою шотландскую церковь) в молитвенной позе, с надписью наверху: «Afflictae Sponsae ne obliviscaris»³⁴.

Однако шотландцы во всех войнах, которые они вели, нуждались не столько в воодушевлении как в смысле политическом, так и в смысле личной храбрости, сколько в бывалых и осмотрительных генералах. Безрассудное и упорное мужество побуждало шотландцев бросаться в самую гущу сражения, не взвесив предварительно ни своих, ни неприятельских сил, что неизбежно вело к частым поражениям. Мы могли бы умолчать о горестном разгроме при Пинки, если бы в числе десятка тысяч бойцов высокого и низкого звания там не сложил своей головы и Саймон Глендининг из башни Глендеарг, нисколько не опозоривший древнего рода, от которого он вел свое происхождение.

Когда эта печальная весть, наполнившая ужасом и горем всю Шотландию, достигла башни Глендеарг, там жила лишь вдова Саймона, урожденная Элспет Брайдон, почти в одиночестве, если не считать двух батраков, по старости лет не способных ни воевать, ни пахать землю, да беспомощных вдов и сирот бойцов, погибших на поле брани вместе со своим господином. Отчаяние было всеобщим, но что оставалось делать? Монахи, их покровители, были изгнаны из аббатства английскими войсками, которые наводнили всю страну и вынудили к покорности, по крайней мере внешней, все население.

Протектор Сомерсет^[78] образовал на месте развалин древнего замка Роксбург сильно укрепленный лагерь и заставил все окрестные земли платить дань, приняв их (как выражались тогда) «под свою высокую руку». Надо сказать, что в стране больше не оставалось никого, кто мог бы сопротивляться, а те несколько баронов, которым высокомерие не позволило примириться даже с видимостью подчинения, вынуждены были скрыться в самые дальние крепости на границе, оставив свои дома и имущество на поток и разграбление англичанам. Победители рассылали вооруженные отряды повсюду, чтобы разорять поборами те земли, владельцы коих отказывались покориться. А так как аббат монастыря и вся братия спрятались в крепости, их земли также подверглись страшному опустошению, ибо никто не сомневался, что они особенно враждебно относятся к союзу с Англией.

³⁴ Не забудь опечаленной супруги (лат.).

Среди английских войск, разосланных для карательных целей, был один небольшой отряд, которым командовал капитан Стоуэрт Болтоп, человек, отличавшийся прямоотой характера, беззаветной храбростью и великодушием – качествами, свойственными англичанам. Соппротивление карателям было бессмысленно. Поэтому Элспет Брайдон, завидя дюжину всадников, едущих вверх по долине во главе с человеком, в котором легко можно было узнать начальника по красному плащу, блестящим доспехам и развевавшемуся на шлеме перу, не могла придумать лучшего способа самозащиты, чем выйти им навстречу из-за чугунной ограды под длинной траурной вуалью, ведя за руки двух своих сыновей. Она решила объяснить англичанам свое беззащитное положение, предоставить маленькую башню в их полное распоряжение и просить их о покровительстве. Она высказала все это в самых кратких выражениях и добавила:

– Я покоряюсь, потому что не имею возможности сопротивляться.

– А я, мистрис, по той же причине не прошу вас о покорности, – ответил англичанин. – Мне нужно только одно – уверенность в ваших мирных намерениях. А судя по вашим словам, нет основания в этом сомневаться.

– По крайней мере, сэр, – сказала Элспет Брайдон, – воспользуйтесь запасами наших кладовых и амбаров. Лошади ваши устали, а люди, наверное, хотят подкрепиться.

– Ни за что, ни за что! – отвечал честный англичанин. – Пускай никто не упрекнет нас в том, что мы бражничали, нарушая покой вдовы храброго солдата, оплакивающей своего супруга... Налево кругом! Одну минуту, – добавил он, сдерживая своего боевого коня, – мои солдаты разбрелись во все стороны. Им нужно доказательство, что ваша семья находится под моей защитой. Ну-ка, малыш! – обратился он к старшему из мальчиков, которому могло быть лет девять или десять. – Дай-ка мне твою шапочку.

Ребенок покраснел и потупился в нерешительности. Тогда мать, после многих «да ну», и «ах, какой ты!», и прочих ласковых уговоров, с которыми нежные матери обращаются к избалованным детям, наконец стащила у него с головы колпачок и передала его англичанину.

Стоуэрт Болтон, отцепив нашитый красный крест со своего берета и прикрепив его к шапочке ребенка, сказал мистрис Брайдон (к женщинам ее положения не обращались тогда с титулом леди):

– Этот знак уважают все мои люди, и он предохранит вас от любых неприятностей со стороны наших солдат.

Затем он надел шапочку на голову мальчика. Но только он это сделал, как мальчишка весь побагровел. Сверкая глазами, полными слез, он сорвал с себя шапочку и, прежде чем мать могла его удержать, закинул в ручей. Второй мальчик тотчас же кинулся к ручью и, вытащив колпачок, бросил его брату назад, предварительно сняв с него крест, который он благоговейно поцеловал и спрятал на груди. Англичанина эта сцена удивила и позабавила.

– Почему это тебе вздумалось выбрасывать красный крест святого Георгия?^[79] – спросил он полушутя-полусерьезно старшего мальчика.

– Оттого, что святой Георгий – южный святой, – ответил тот мрачно.

– Хорошо, – заметил Стоуэрт Болтон. – А почему же ты, малыш, вытащил его обратно из ручья? – обратился он к младшему брату.

– Потому, что священник говорит, что это знак нашего спасения, общий для всех истинных христиан.

– Что же, и это правильно! – отозвался честный воин. – Должен сказать, мистрис, я вам завидую, что у вас такие мальчики. Они оба ваши?

Стоуэрт Болтон имел основание задать этот вопрос, так как у Хэлберта Глендининга, старшего мальчика, волосы были как вороново крыло, глаза большие, черные, блестящие, сверкавшие из-под таких же черных бровей, кожа загорелая (хотя его и нельзя было назвать смуглым) и такой живой, прямодушный, решительный вид, который никак не соответствовал его

возрасту. Что же касается Эдуарда, младшего брата, то он был белокур, голубоглаз, с нежным цветом лица, несколько бледен и без того свежего румянца на щеках, который служит залогом крепкого здоровья. Но, впрочем, он не выглядел ни больным, ни слабым, напротив – это был привлекательный и красивый мальчик с улыбающимся лицом и кроткими, но веселыми глазами.

Элспет взглянула горделивым материнским взглядом сперва на одного, затем на другого мальчика и потом ответила англичанину:

– Конечно, сэр, они оба мои сыновья.

– И от одного отца, мистрис? – спросил Стоуарт. Но, заметив, что она покраснела – видимо, этот вопрос был ей неприятен, – поспешно добавил:

– Я ничего плохого не хотел сказать. Я задал бы такой же вопрос при случае кому угодно. Ну что же, сударыня, у вас двое прелестных мальчиков. Не уступили бы вы мне одного из них? Надо признаться, что мы с супругой живем бездетными в нашем старом доме. Ну, голубчики, кто из вас согласится поехать со мной?

Не зная, как понимать эти слова, мать, дрожа от страха, привлекла обоих сыновей к себе. Она держала их за руки, в то время как они оба отвечали чужестранцу.

– Я с вами не поеду, – смело воскликнул Хэлберт, – потому что вы вероломный южанин, а южане убили моего отца! И когда я смогу владеть его мечом, я буду биться с вами не на жизнь, а на смерть.

– Да поможет тебе Бог, молодец! – отвечал Стоуарт Болтон. – Видно, для тебя добрый обычай кровной мести сохранится до конца твоих дней. Ну а ты, мой белокурый красавчик, не хочешь ли ты поехать со мной верхом на боевом коне?

– Нет, – ответил Эдуард очень серьезно, – ведь вы еретик.

– Ну что ж, и тебе тоже Бог в помощь! – ответил Стоуарт Болтон. – Как видно, сударыня, мне здесь у вас не заполучить новобранцев для моего отряда. И все же меня зависть берет, когда я смотрю на этих двух маленьких разбойников. – Он тяжело вздохнул – это было заметно несмотря на то, что он был в латах, – и добавил: – А все же мы бы с женою поспорили, который из разбойников нам больше нравится. Мне бы больше подошел этот черноглазый плут, а ей бы, наверно, этот белокурый, голубоглазый красавчик. Нечего делать, придется нам примириться с нашим бездетным браком, пожелав счастья тем, к кому судьба более милостива. Сержант Бритсон! Оставайся здесь до нового приказа; охраняй эту семью – она под нашим покровительством. Сам не делай им ничего дурного и другим не давай, ты за это отвечаешь головой! Сударыня, Бритсон – человек женатый, немолодой и надежный; кормите его сытно, но не давайте пить лишнего.

Госпожа Глендининг вновь предложила приезжим подкрепиться; говорила она неуверенным тоном, явно рассчитывая на отказ. Дело в том, что, по естественному для всех родителей заблуждению, она вообразила, что ее сыновья для англичанина так же дороги, как для нее самой, и она испугалась, как бы его грубоватое восхищение не кончилось тем, что он и в самом деле похитит которого-нибудь из них. Поэтому она продолжала крепко держать их за руки, точно могла своими слабыми силами защитить их. И наконец с нескрываемой радостью она увидела, что всадники повернули и намерены спуститься в долину. Ее волнение не ускользнуло от взгляда англичанина.

– Я не обижаюсь на вас, сударыня, – сказал он, – за то, что вы боитесь, как бы английский сокол не унес ваших птенцов. Но успокойтесь: меньше детей – меньше забот, а разумному человеку не приходится завидовать чужому потомству. Прощайте, сударыня. Когда этот черноглазый плут подрастет и сможет воевать с англичанами, научите его щадить женщин и детей, хотя бы в память о Стоуарте Болтоне.

– Да хранит вас Бог, великодушный южанин! – сказала ему вслед Элспет Глендининг, но тогда, когда он уже не мог ее слышать. Он же прищепил коня, чтобы вновь стать во главе

отряда, и блестящее вооружение всадников, как и развевающиеся перья на их шлемах, стало постепенно исчезать по мере того, как они спускались в долину.

– Мама, – сказал старший мальчик, – я ни за что не буду молиться за южанина.

– Мама, – сказал младший более почтительно, – разве это хорошо – молиться за еретика?

– Это один Бог знает, – отвечала бедная Элспет. – Но эти два словечка – южанин и еретик – уже стоили Шотландии десяти тысяч ее самых сильных и храбрых сыновей; меня лишили мужа, а вас – отца. И не желаю я больше слышать ни благословений, ни проклятий. Следуйте за мной, сэр, – обратилась она к Бритсону, – мы будем рады поделиться с вами всем, что у нас есть.

Глава III

*Они тогда спустились к Твиду
И в ночь костры зажгли...
И весь Тевинтдейл был светел
От неба до земли.*

Старый Мейтленд⁸⁰¹

По всем владениям монастыря Святой Марии, как и по окрестным селениям, очень скоро распространилась весть, что хозяйка Глендеарга находится под покровительством английского капитана и, следовательно, ее скот не будет угнан, а хлеб – сожжен. Новость эта достигла ушей и одной леди, которая в свое время занимала более высокое общественное положение, чем Элспет Глендининг, но по тем же бедственным причинам стала еще несчастнее, чем она.

Дама эта была вдовой храброго солдата, Уолтера Эвенела, потомка очень старой фамилии пограничной Шотландии, когда-то владевшей огромными поместьями в Эскдейле. Земли эти давно перешли в другие руки, но Эвенелам еще по-прежнему принадлежало древнее и довольно обширное баронское имение неподалеку от владений монастыря Святой Марии. Оно было расположено у берега той же реки, что текла по узкой долине Глендеарг и где при выходе из ущелья стояла маленькая башня Глендинингов. Здесь и жили эти Эвенелы, занимая почетное положение среди местной знати, хотя они не отличались ни богатством, ни могуществом. Это всеобщее уважение еще значительно возросло под влиянием ловкости, храбрости и предприимчивости последнего из местных баронов – Уолтера Эвенела.

Когда Шотландия начала оправляться от страшного потрясения после битвы при Пинки, Эвенел один из первых собрал небольшие силы и перешел к кровавым и беспощадным стычкам, доказавшим, что народ, пусть побежденный и закабаленный, еще ведет партизанскую войну, которая может оказаться роковой для захватчиков. Но в одной из таких схваток Уолтер Эвенел был убит. Весть о его гибели достигла отцовского дома вместе с другим ужасающим известием – что отряд англичан идет грабить усадьбу и владения его вдовы, дабы этим актом насилия отбить охоту у кого бы то ни было последовать примеру покойного.

Для несчастной леди не нашлось лучшего убежища, чем жалкая пастушья хижина в горах. Сюда ее поспешно увезли, когда она еле сознавала, почему и зачем испуганные слуги уводят ее вместе с малолетней дочерью из дома. Здесь, наверху, Тибб Тэкет, жена пастуха, когда-то ее верная служанка, ухаживала за ней со всей преданностью былых времен. Сначала леди Эвенел не сознавала своего бедственного положения. Но когда первый порыв отчаяния прошел и она смогла трезво оценить положение, бедной вдове невольно пришлось позавидовать участи мужа в его мрачном и безмолвном пристанище. Слуги, которые ее спрятали, принуждены были покинуть леди Эвенел ради своей собственной безопасности и для того, чтобы искать средства к существованию. А что касается пастуха и его жены, в хижине которых она скрывалась, то они вскоре лишились возможности доставлять своей бывшей госпоже даже ту грубую пищу, которую они от всей души готовы были делить с нею. Какие-то английские солдаты угнали и тех овец, что еще уцелели от первоначальных грабежей. Та же участь постигла двух коров – почти единственных их кормилиц. Теперь уже самый настоящий голод стучался к ним в двери.

– Разорили нас вконец, по миру пустили! – причитал старик пастух Мартин, ломая в отчаянии руки. – Воры! Разбойники! Грабители! Хотя бы одну скотину оставили из всего стада.

– Вы бы видели бедных Гриззи и Кремми, – плакала его жена, – как они повернули головы к хлеву и принялись реветь, а эти бездушные мерзавцы стали их колоть пиками!

– Их всего-то было четверо, – рассуждал Мартин, – а я помню, что в прежние времена сорок человек – и те побоялись бы сюда нос сунуть. Кончились наши сила и мужество, ушли вместе с покойным господином.

– Помолчи ты, старик, ради самого Спасителя и Его благоверного креста! – промолвила добрая женщина. – Наша госпожа так плоха, погляди – чуть дышит. Еще одно слово, и она Богу душу отдаст.

– Хорошо бы, если бы мы все померли, – отвечал Мартин. – Что нам теперь делать? Я ума не приложу. О нас с тобой, Тибб, я еще не так тревожусь. Мы с тобой, может быть, как-нибудь справимся. И нужда и работа нам хорошо знакомы. Но она-то ведь к этому не привыкла...

Они не таясь обсуждали свое положение при леди Эвенел, заключая по бледности ее лица, дрожащим губам и потухшему взору, что она и не слышит и не понимает их разговора.

– Есть, правда, один выход, – продолжал пастух, – только не знаю, пойдет ли она на это. Вдова-то Саймона Глендининга из ущелья получила охранную от этих скотов южан, и ни один солдат теперь не посмеет их и пальцем тронуть. Вот если бы миледи, в ожидании лучших дней, согласилась бы пойти жить к Элспет Глендининг. Что говорить, для той-то это было бы много чести, но все же...

– Много чести! – воскликнула его жена. – Да такой честью внуки ее будут похваляться, когда ее-то косточки давно в могиле стгниют. Да как же это? Слыханное ли это дело, чтобы леди Эвенел – и вдруг проживала у вдовы какого-то церковного вассала?

– Да, меня самого с души воротит, как я об этом подумаю, – ответил Мартин. – Но что прикажешь делать? Здесь оставаться – помрешь с голоду. А куда пойти – это я, ей-ей, так же знаю, как любая овца из тех, что я, бывало, пас.

– Довольно об этом, – произнесла леди Эвенел, неожиданно вмешавшись в разговор. – Я отправляюсь в башню. Элспет Глендининг из порядочной семьи, вдова и мать сирот – она даст нам приют, пока мы чего-нибудь другого не придумаем. Когда бушует гроза, то и под кустом спрятаться все лучше, чем в чистом поле.

– Вот видишь! – обрадовался Мартин. – Как госпожа-то рассудила – получше нас с тобой.

– А ей и книги в руки, – отозвалась Тибб, – она в монастыре воспитывалась, все умеет – и шить и вышивать: и зернью и шелками.

– А как ты думаешь, госпожа Глендининг не откажет нам в гостеприимстве? – спросила леди Эвенел у Мартина, крепко прижимая к себе дочку. По одному этому движению можно было ясно понять, какие причины побуждали ее искать убежища.

– Да она за счастье почтет, уж поверьте, миледи, – весело отвечал Мартин. – Да и мы ей будем служить. С этими войнами, миледи, работников днем с огнем не сыщешь. А мне только дай волю – у меня всякое дело в руках горит; да и Тибб за коровами умеет ходить лучше всякой скотницы.

– Я еще много чего умею, – добавила Тибб. – Попади я только в порядочный дом. Хотя у Элспет Глендининг мне, наверно, не придется ни жемчуга перенизывать, ни чепцов плоить.

– Полно тебе хвастаться-то, жена, – прервал ее пастух. – Известно, что ты и в доме и во дворе со всем справишься, будь у тебя на то охота. И неужели же мы вдвоем с тобой хлеба на троих не заработаем, не затрудняя милостивую леди, нашу госпожу? Чего тут долго думать, идемте скорей, ничего мы не добьемся, сидя здесь. Нам надо пройти пять шотландских миль по кочкам и болотам, а это для прирожденной леди не так-то легко.

Укладывая и брать в дорогу им было почти нечего. На старую лошадку-пони, случайно уцелевшую после погрома – как благодаря своему жалкому виду, так и потому, что она никак не давалась в руки чужим, – нагрузили несколько одеял и еще кое-какой домашний скарб, составлявший все их имущество. Когда Шаграм подошел, отозвавшись на привычный свист

хозяина, тот, к своему удивлению, заметил, что бедное животное ранено, хотя и легко. Видно, один из грабителей, устав от тщетной погони, в раздражении выстрелил в пони из лука.

– Ах, Шаграм! – сказал старый пастух, перевязывая рану. – Видно, и ты не избежал обиды от этих богомерзких стрелков?

– А где еще теперь в Шотландии можно избежать обиды? – отозвалась леди Эвенел.

– Ваша правда, сударыня, – заметил Мартин. – Да хранит Бог наших добрых шотландцев от смертоносной стрелы, а от удара меча они и сами уберегутся. Но нам пора в путь; за тем хламом, что здесь еще остался, я потом вернусь. Украсть его здесь некому, разве только нашим милым соседushкам, а они...

– Бога ты не боишься, Мартин! – воскликнула его жена с упреком. – Попридержи язык! Подумай, что ты такое говоришь, когда нам придется проходить по самым гиблым местам, пока мы не доберемся до окружного перевала.

Супруг кивнул головой в знак согласия: считалось в высшей степени неосторожным говорить о феях, называя их добрыми соседushками или как-либо иначе, в особенности если предстояло проходить через те места, где, по поверью, они обитали.

Переселенцы тронулись в путь в последний день октября.

– Сегодня день твоего рождения, дорогая Мэри, – промолвила несчастная мать, и горестное воспоминание пронзило ей сердце. – Кто бы мог предвидеть тогда, несколько лет назад, что ты, с самой колыбели окруженная близкими друзьями, может быть, нынче ночью не найдешь пристанища!

Вслед за тем семья изгнанников пошла своей дорогой. Мэри Эвенел, прелестная девочка лет пяти-шести, ехала верхом, по-цыгански сидя между двумя узлами на спине Шаграма. Леди Эвенел шла с ней рядом. Тибб вела пони под уздцы, а старый Мартин, предвзяря шествие, тщательно осматривал дорогу.

Задача Мартина как проводника уже через две или три мили оказалась гораздо сложнее, чем он думал или чем он готов был признать. Дело в том, что обширные пространства пастбищ, с которыми, он был хорошо знаком, лежали к западу, а для того чтобы добраться до ущелья Глендеарг, надо было идти на восток. В гористых частях Шотландии часто бывает очень трудно перебраться из долины в долину – надо спускаться с одной кручи для того, чтобы тут же вскарабкиваться на другую. Гребни и овраги, болота и утесы и всяческие иные препятствия мешают путешественнику выбрать правильное направление. Таким образом, Мартин, хотя и был уверен, что, по существу, он идет верной дорогой, постепенно осознавал, а затем с неохотой принужден был признать, что сбился с прямого пути на Глендеарг. Но он настаивал, что они должны быть где-то очень близко от него.

– Если только нам удастся пробраться через это большое болото, будьте уверены, что мы окажемся как раз над башней.

Однако пробраться через болото оказалось делом далеко не легким. Чем дальше они шли (хотя двигались со всей осторожностью, которую подсказывал Мартину его опыт), тем почва становилась все более зыбкой, пока наконец, пройдя несколько мест крайне опасных, им уже ничего другого не оставалось, как только идти вперед, так как возвращаться обратно было столь же рискованно.

Леди Эвенел была хрупкого сложения, но чего не вынесет женщина, когда ее ребенок в опасности! Она меньше жаловалась на трудности пути, чем ее спутники, которые с детства привыкли ко всяким тяготам. Плотно прижавшись к боку пони, она внимательно следила за каждым шагом, готовая сейчас же подхватить маленькую Мэри на руки, если только лошадка, оступившись, соскользнет в трясину.

Наконец они добрались до такого места, где проводник оказался в серьезном затруднении, ибо кругом были только высокие кочки, заросшие вереском, а между ними – бездонная черная жижа болота. После долгого раздумья Мартин, выбрав, как ему казалось, самое без-

опасное направление и стремясь прежде всего уберечь от опасности ребенка, сам взял Шаг-рама под уздцы и намеревался вести его дальше. Но пони вдруг захрапел, прижал уши, вытянул передние ноги, подобрал под себя задние и, упершись таким образом, решительно отказался двинуться с места хотя бы на один шаг. Старый Мартин остановился, озадаченный: он не знал, прибегнуть ли ему к крайним мерам или посчитаться с упрямой несговорчивостью Шаг-рама. Мало утешило его и замечание супруги, которая, видя, что Шаграм косит глазом, раздувает ноздри и дрожит от страха, высказала предположение:

– Наверное, он видит что-то такое, чего мы не видим.

В это время девочка внезапно воскликнула:

– Вон там красивая леди манит нас идти за ней!

Все посмотрели в ту сторону, куда указывал ребенок, но ничего не увидели, кроме колеблющейся пелены тумана, которую только в воображении можно было принять за человеческую фигуру. Но как раз эта густая завеса вселила в душу Мартина горестное убеждение, что теперь опасность еще возрастает. Он снова попытался заставить Шаг-рама двинуться вперед, однако животное осталось непоколебимым в своем решении не идти туда, куда его ведут.

– Так иди, куда хочешь, – сказал Мартин, – и посмотрим, куда ты нас выведешь.

Шаграм, предоставленный самому себе, бодро зашагал в ту сторону, куда показывал ребенок. В этом не было ничего удивительного, как и в том, что он провел их целыми и невредимыми через гибельное болото. Инстинкт, который проявляют животные при переходе через трясины, факт общеизвестный и составляет любопытное свойство их природы. Но удивительно то, что девочка вновь и вновь говорила о прекрасной леди и о том, что она их манит, а Шаграм, как будто посвященный в эту тайну, неуклонно следовал по направлению, которое она указывала. Леди Эвенел почти не обратила на это внимания: вероятно, она была слишком занята мыслями о грозящей опасности. Но ее спутники не раз обменивались выразительными взглядами.

– Нынче канун Дня всех святых^[81], – сообщила Тибб шепотом своему мужу.

– Ради Пресвятой Богородицы, сейчас об этом ни слова, – отвечал ей Мартин. – Шепчи про себя молитву, если уж ты никак не можешь молчать.

Когда они вновь вышли на твердую почву, Мартин узнал некоторые путеводные знаки в виде пирамид из камней на вершинах близлежащих холмов и направил свой путь по ним. Вскоре они подошли к башне Глендеарг.

Взглянув на эту маленькую крепость, леди Эвенел особенно остро ощутила горечь своего положения. Она невольно вспомнила то почтительное уважение, с которым обращалась к ней, супруге воинственного барона, жена скромного вассала, когда они встречались с ней в церкви, на рынке или еще где-либо на людях. А теперь она была в таком унижении, что ей приходилось просить вдову этого вассала предоставить ей убежище, вероятно не слишком надежное, и разделить с ней запасы пищи, едва ли слишком обильные. Мартин, по всей вероятности, догадывался, что творилось в ее душе: он глядел на нее умоляющим взором, точно просил не менять своего решения. И скорее в ответ на этот взгляд она сказала, причем в ее глазах еще раз блеснула затаенная гордость:

– Если бы я была одна, я бы скорее умерла... Но ради этого ребенка... последнего отпрыска Эвенелов...

– Правильно, миледи! – поспешно подхватил Мартин и, чтобы отнять у нее всякую возможность отступления, добавил:

– Я пойду повидаться с госпожой Элспет; я хорошо знал ее мужа, мне приходилось и продавать ему кое-что, и покупать у него, хоть он был мне не ровня.

Рассказ Мартина, очень недолгий, заставил хозяйку Глендеарга отнестись к подруге по несчастью с самым теплым вниманием. В дни своего благоденствия леди Эвенел была ко всем приветлива и внимательна. И теперь, в дни ее унижения, ей платили за это сочувствием. Вдо-

бавок было нечто льстившее самолюбию в самой возможности оказать приют и покровительство женщине столь знатного рода и высокого положения. Но, чтобы не быть несправедливым к Элспет Глендининг, надо сказать, что она чувствовала искреннюю симпатию к женщине, судьба которой, сходная с ее собственной, была еще плачевнее. Измученным путешественникам было оказано самое радушное и почтительное гостеприимство, и хозяйка любезно просила их оставаться в Глендеарге сколько потребуют обстоятельства или сколько они сами пожелают.

Глава IV

*Дрожу я, страхом потрясенный:
В канун сей, трижды освященный,
Выходят духи из болот
Пугать народ.*

Коллинз^[82], ода «Страх»

Когда в стране стало спокойнее, леди Эвенел охотно вернулась бы в дом своего покойного мужа. Но теперь это было уже не в ее власти. В государстве, где царствовала несовершеннолетняя королева, закон неизменно оказывался на стороне сильного, почему люди высокого положения, но малой совестливости не стеснялись творить любые беззакония.

Джулиан Эвенел, младший брат покойного Уолтера, принадлежал именно к таким людям. Он не постеснялся захватить дом и земли своего брата, как только отступление англичан дало ему эту возможность. Сначала он управлял поместьем от имени своей племянницы, но, когда леди Эвенел захотела вернуться в родовое имение вместе с дочерью, он дал ей понять, что Эвенел, будучи майоратом, должен перейти по наследству к брату, а не к дочери последнего владельца. Древний философ отказался вступить в спор с императором^[83], повелевающим двадцатью легионами, и вдова Уолтера Эвенела не могла вступить в пререкания с вождем двадцати грабителей из числа «болотных людей». Кроме того, Джулиан был человек услужливый, готовый оказать помощь друзьям в нужный момент, и потому мог быть уверен, что всегда найдет покровительство у власть имущих. Словом, как бы неоспоримы ни были права маленькой Мэри на наследство отца, мать ее сочла за благо уступить, хотя бы временно, незаконным притязаниям ее дяди. Ее терпение и покорность имели то преимущество, что Джулиан, хотя бы из одного только приличия, не мог более мириться с тем, что его невестка живет из милости у Элспет Глендининг. Стадо рогатого скота вместе с быком (движимость, которую, вероятно, оплакивал какой-нибудь английский фермер) было пригнано на пастбища Глендеарга. Затем были присланы в большом количестве одежда и домашний скarb и с ними некоторая сумма денег, хотя особой щедрости в отношении последних проявлено не было. Надо сказать, что людям, подобным Джулиану Эвенелу, было гораздо проще добывать любые ценности в натуре, чем в их денежном выражении, почему они обычно и расплачивались натурой.

Между тем вдовы Уолтера Эвенела и Саймона Глендининга привыкли друг к другу и уже не желали расставаться. Леди Эвенел не могла найти более уединенного и безопасного убежища, чем Глендеарг, а теперь она имела возможность и расходы по хозяйству делить пополам. Элспет же было и лестно и приятно общество столь почетной гостьи, как супруга Уолтера Эвенела, и она готова была оказывать ей даже такие знаки уважения, которые той совестно было принимать.

Мартин и его жена, каждый на своем поприще, усердно служили объединенному семейству и одинаково слушались распоряжений как той, так и другой госпожи, хотя все же неизменно считали себя слугами леди Эвенел. Это различие иногда служило поводом к легким недоразумениям между Элспет Глендининг и Тибб; первая несколько ревниво относилась к своей прерогативе хозяйки дома, вторая же слишком подчеркивала высокое происхождение и знатность своей госпожи. Но в то же время ни одна из них не хотела, чтобы эти мелкие дразги достигли ушей леди Эвенел, так как хозяйка Глендеарга питала к ней никак не меньшее уважение, чем старая служанка. Впрочем, эти недоразумения и не были столь серьезны, чтобы нарушить мир и согласие в семье, так как одна благоразумно уступала, как только замечала,

что другая уж очень распалилась. Впрочем, Тибб, хотя она часто бывала зачинщицей ссор, оказывалась обычно и достаточно разумной, чтобы первой кончить пререкания.

Окружающий мир был постепенно забыт обитателями уединенного ущелья, и если бы Элис Эвенел не приходилось бывать по большим праздникам у обедни в монастырской церкви, она бы совсем забыла, что когда-то занимала такое же положение, как те гордые жены соседних баронов и дворян, которые стекались толпой на подобные торжества. Это напоминание о прошлом не причиняло ей большого горя. Она любила своего мужа таким, каким он был, и при такой невознаградимой утрате все другие потери перестали ее интересовать. Правда, она не раз думала просить королеву-регентшу (Марию де Гиз) принять под свое покровительство ее сиротку, но боязнь восстановить против себя Джулиана Эвенела неизменно ее удерживала. Она хорошо понимала, что он без зазрения совести и без помехи украдет ее ребенка (если не сделает хуже), как только заподозрит, что маленькая наследница угрожает его интересам. Притом Джулиан вел бурную и беспутную жизнь, участвуя во всех нападениях и грабежах, где дело решалось силой оружия. Склонности к женитьбе он не проявлял, а постоянный вызов судьбе мог в конце концов привести его к потере незаконно захваченного наследства. Поэтому Элис Эвенел благоразумно решила отказаться на время от всяких честолюбивых замыслов и продолжала жить в непритязательном, но мирном приюте, уготованном ей Провидением.

Однажды вечером, накануне Дня всех святых (к этому времени обе семьи прожили вместе уже три года), в старой узкой зале глендеаргской башни, у очага, где ярко пылал торф, собрался весь домашний кружок. В те времена никому в голову не приходило, чтобы хозяин или хозяйка дома ели или жили отдельно от своих слуг. Все различие между ними отмечалось лишь более почетным местом за столом или более удобной скамейкой близ очага.

Слуги свободно вмешивались, правда, не без уважения, но совершенно беспрепятственно, во все разговоры. Из башни в свои хижины удалялись лишь те несколько батраков, которые работали на полях, и с ними две девушки-служанки – дочери одного из них.

Проводив их, Мартин запер сперва железную решетку, а затем, убедившись, что семейный кружок в полном составе, – и внутреннюю дверь башни. Госпожа Элспет, сидя у прялки, сучила нитку; Тибб наблюдала за тем, как сыворотка кипятится в большом котле на «зацепе» (цепь с крюком на конце, которая служила той же цели, что современный подъемный кран). Мартин же занимался починкой кое-какой домашней утвари (в те времена каждый человек был сам себе плотник и кузнец, а зачастую и портной и сапожник) и в то же время следил за тремя детьми.

Дети могли резвиться и бегать взад и вперед по зале, позади стульев, на которых сидели взрослые, и им разрешалось иногда забегать и в две-три смежные комнатки, где было очень удобно играть в прятки. Впрочем, в этот вечер они, видимо, не были расположены пользоваться своим правом прятаться в темноте, предпочитая скакать и прыгать поближе к свету.

Элис Эвенел, подвинувшись к железному подсвечнику, в который была вставлена неровная свеча домашнего изготовления, читала вслух избранные отрывки из толстой книги с застешками, которую она очень заботливо берегла. Искусству чтения леди Эвенел выучилась в монастыре, где она воспитывалась, но ей редко в последние годы приходилось читать что-либо, кроме этой книжки, составлявшей всю ее библиотеку.

Все домочадцы слушали отрывки, которые она читала, с благоговейным уважением, как нечто глубоко поучительное, вне зависимости от того, было ли оно вполне понятно или нет. Дочке леди Эвенел намеревалась впоследствии подробно разъяснить все премудрости этой книги, хотя такие знания были в те времена сопряжены с большой опасностью и доверять их ребенку было довольно опрометчиво.

Шумная возня детей не раз заглушала голос леди и наконец побудила Элспет сделать замечание нарушителям порядка:

– Если вы хотите шуметь, отойдите подальше и не мешайте миледи!

Это распоряжение было подкреплено угрозой, что их уложат спать, если они сейчас же не уймονται. Дети сначала забились в дальний угол и там начали играть в более спокойную игру, но затем, когда им это надоело, они незаметно проскользнули из зала в соседнее помещение. Но почти тотчас оба мальчика с разинутыми ртами влетели обратно и сказали, что в трапезной стоит вооруженный человек.

– Это, должно быть, Кристи из Клинт-хилла, – сказал Мартин вставая. – Но что могло привести его сюда в такую позднюю пору?

– И как он сюда попал? – заметила Элспет.

– О господи! Что ему понадобилось? – воскликнула леди Эвенел, которой этот человек, правая рука ее деверя, иногда выполнявший его поручения в Глендеарге, внушал тайный страх и недоверие. – Боже правый! – добавила она, вставая с места. – Где же моя девочка?

Все бросились в трапезную, причем Хэлберт Глендининг вооружился ржавым мечом, а его младший брат схватил книгу леди Эвенел. Они подбежали к дверям, и у них сразу отлегло от сердца: на пороге их встретила сама Мэри. Она нисколько не казалась смущенной или встревоженной. Они кинулись дальше в трапезную (одно из внутренних помещений, в котором вся семья в летнее время обедала), но там никого не оказалось.

– Где же Кристи из Клинт-хилла? – спросил Мартин.

– Не знаю, – отвечала Мэри. – Я его не видала.

– С чего же это вы, негодные мальчишки, – обратилась Элспет Глендининг к своим сыновьям, – влетели к нам как полоумные и напугали леди до смерти своим криком, а она, бедная, и так уж чуть жива?

Мальчики молча и смущенно переглянулись, а мать продолжала наставление:

– Уж нашли время для своих проказ – канун Дня всех святых, да еще тот час, когда леди читает нам жития? Ну погодите, я вам задам!

Старший мальчик опустил глаза, младший заплакал, но ни один из них не промолвил ни слова. Мать уже готова была привести свои угрозы в исполнение, но тут вмешалась Мэри:

– Госпожа Элспет, это я виновата – я им сказала, что видела человека в трапезной.

– Отчего же ты это сказала, – обратилась к ней мать, – и так напугала нас всех?

– Потому, – отвечала Мэри, понизив голос, – что я не могла иначе.

– Не могла иначе, Мэри! Ты подняла всю эту суматоху и говоришь, что не могла иначе? Как же так, милочка?

– Да, там действительно стоял вооруженный человек, – отвечала Мэри, – и я так удивилась, что позвала Хэлберта и Эдуарда.

– Вот она сама все сказала, – прервал ее Хэлберт Глендининг, – а я бы никогда ничего не сказал.

– И я тоже, – произнес Эдуард, не желая отстать от брата.

– Мистрис Мэри, – обратилась Элспет к девочке, – вы никогда раньше не говорили нам неправды; признайтесь, что вы пошутили, и хватит об этом.

У леди Эвенел был такой вид, точно она хочет вмешаться, но не знает, как это лучше сделать, а любопытство Элспет было возбуждено до такой степени, что она уже не могла считаться с тонкими намеками и потому продолжала допрашивать девочку:

– Что же, это был Кристи из Клинт-хилла? Только не хватало, чтобы он еще торчал у нас в доме неведомо зачем.

– Это был не Кристи, – отвечала девочка, – это был... это был джентльмен, джентльмен в блестящих латах. Таких я видела давно, когда мы еще жили в Эвенеле.

– Каков же он был из себя? – включившись в следствие, начала допрашивать Тибб.

– У него были черные волосы, черные глаза и острая черная борода, – отвечала девочка, – и много ниток жемчуга, которые с шеи падали ему на грудь, на его кирасу. В

левой руке он держал красивого сокола с серебряными колокольчиками и в красной шелковой шапочке...

– Ради бога, не задавайте ей больше вопросов! – воскликнула испуганная служанка, обращаясь к Элспет. – Взгляните на миледи!

Но леди Эвенел, схватив девочку за руку, круто повернулась и быстро пошла обратно в залу, не давая окружающим возможности судить, какое впечатление произвело на нее сообщение ребенка, которое она так резко прервала. Какое действие оно оказало на Тибб, ясно было из того, что она, не переставая креститься, шепнула на ухо Элспет:

– С нами крестная сила! Девчушка-то видела своего отца!

Вернувшись в залу, они увидели, что леди Эвенел держит дочку на коленях и нежно целует. Когда все вошли леди Эвенел встала, словно хотела избежать их любопытных взглядов, и удалилась в свою комнату, где она спала с дочкой на одной кровати.

Мальчиков тоже отослали в их чуланчик, и никого больше не оставалось у очага, кроме верной Тибб и госпожи Элспет, особ весьма почтенных, но до смерти любивших посплетничать.

Вполне понятно, что они сейчас же принялись обсуждать это сверхъестественное явление (ибо таковым они его почитали), переполошившее весь дом.

– Лучше бы я увидела самого дьявола – храни нас Бог от этого наваждения, – чем Кристи из Клинт-хилла, – заявила хозяйка дома. – О нем идет молва, что он самый отъявленный вор и грабитель на свете.

– Э, что там, госпожа Элспет, – возразила Тибб, – чего уж вам Кристи-то так пугаться? Хитра лиса, да не больно страшна. Вы, церковники, уж очень строги к добрым людям, что нужды ради при случае чем и попользуются. А не много было бы у нас на границе всадников, кабы не наши оборотистые парни.

– Уж лучше бы их и вовсе не было, только бы народ они не грабили, – отвечала госпожа Элспет.

– А кто же тогда отсюда южан прогонит, ежели они свои копья и мечи попрячут? Ведь нам-то, бабам, с прялками и веретенами врагов не одолеть, а монахам с их колоколами и книгами – подавно.

– А по мне, пускай бы уж они лучше попрятали свои копья и мечи. Я от южанина – от Стоуварта Болтона – больше добра видела, чем от всех пограничных всадников с их крестами святого Андрея^[84]. И я думаю, оттого что они без усталости повсюду рыщут и на чужое добро зарятся, у нас и раздор пошел с Англией, и ведь от этого самого я и мужа потеряла. Они болтают, что вся причина – в этой свадьбе принца с нашей королевой, а по мне, тут главное, что они на жителей Камберленда напали, а англичане тогда на нас как бешеные псы ринулись.

При других обстоятельствах Тибб не замедлила бы опровергнуть это мнение, с ее точки зрения – оскорбительное для ее сограждан, но, вспомнив, что госпожа Элспет все-таки хозяйка дома, она обузда свой ярый патриотизм и поспешила переменить разговор.

– А разве не поразительно, – сказала она, – что наследница Эвенела в эту благословенную ночь увидела своего отца?

– Значит, ты думаешь, это был ее отец? – спросила Элспет Глендининг.

– А то как же? – отвечала Тибб.

– Мало ли какой дух мог принять его образ, – возразила госпожа Глендининг.

– Насчет этого я ничего не знаю, – заявила Тибб, – но что он в таком точно обличье выезжал на соколиную охоту, в этом я поклясться могу. Он редко снимал с себя латы – ведь у него было много врагов. Мне кажется, – добавила она, – что тот мужчина не мужчина, кто на груди не носит стальной брони, а на поясе – меча.

– Насчет брони, лат и прочего я не судья, – отвечала госпожа Глендининг, – а вот что видения в канун Дня всех святых счастья не предвещают, это я на себе испытала.

– Да неужели, госпожа Элспет? – воскликнула Тибб, придвигая свою скамеечку поближе к высокому деревянному креслу собеседницы. – Вот бы об этом послушать!

– Надо тебе сказать, Тибб, – начала госпожа Глендининг, – что, когда мне было лет девятнадцать-двадцать, во всей округе ни один праздник без меня не обходился.

– Это понятно, – отозвалась Тибб. – Но вы, видно, сильно остепенились с тех пор, иначе вы не нападали бы так на наших молодцов.

– После того, что я испытала, поневоле остепенишься! – ответила почтенная дама. – Тогда у такой девчонки, как я, не было недостатка в обожателях – я ведь была не такая уж уродина, чтобы от меня лошади шарахались.

– Ну, что это вы! – воскликнула Тибб. – Вы и теперь хоть куда.

– Пустяки это все, пустяки! – возразила хозяйка Глендеарга, в свою очередь придвигая кресло с высокой спинкой к резной скамеечке, на которой сидела Тибб. – Мое время прошло. Но тогда я могла сойти за хорошенькую, и, кроме того, я не была бесприданницей – за мной давали порядочный кусок земли. Мой отец частично владел Литлдеаргом...

– Об этом вы мне уже рассказывали, – прервала ее Тибб. – А как же все-таки с кануном Дня всех святых?

– Ну, хорошо, хорошо. Парней за мной увивалось порядочно, но ни одному из них я не отдавала предпочтения. И вот однажды, накануне Дня всех святых, сидит с нами отец Николай, монастырский эконо́м – он был эконо́мом до теперешнего эконо́ма, отца Климентия, – щелкает орехи и пьет пиво в самом веселом настроении. И стали меня все уговаривать погладить о своем суженом. Монах мне сказал, что греха в этом нет, а если и есть какой грех, он мне его отпустит. И вот пошла я в амбар – как водится, зерно провеять три раза подряд. А у самой-то у меня сердце замирало от одной мысли, что мне, поди, несдобровать; но я тогда была отчаянная. И вот не успела я провеять третий вес, – а луна-то светила вовсю, и лучи ее стелились по полу, – как вдруг проходит передо мной образ дорогого моего Саймона Глендининга, упокой, Господи, его душу. Он прошел мимо со стрелой в руке, а я вскочила в испуге. Сколько потом возни было, чтобы привести меня в чувство. Уж как меня уверяли, что это шутка отца Николая и Саймона и что стрела была купидонова стрела (так говорил брат эконо́м). И Саймон после нашей свадьбы не раз повторял мне то же самое, но он, голубчик, не хотел, чтобы о нем сплетничали, что дух его когда-то вышел из тела. Однако заметь себе, Тибб, чем дело кончилось. Мы с ним поженились, но все-таки погиб-то он от такой же самой обыкновенной стрелы с гусиным перышком на конце.

– От обыкновенных-то стрел много храбрых людей погибло, – заметила Тибб. – А что до гусиных перьев, то, по мне, пусть бы этих проклятых гусей и вовсе не было, мы бы и курами обошлись.

– Но вот что ты мне скажи, Тибб, – продолжала мистрис Глендининг, – чего это твоя госпожа нам все вычитывает из этой толстой черной книги с серебряными застежками? Там много таких святых слов, что их впору только из уст священника слышать. Ежели бы она читала нам о Робине Гуде^[85] или, скажем, какие-нибудь баллады Дэвида Линдсея^[86], я бы слова не сказала. Я не то что не доверяю твоей госпоже, но боюсь, как бы у меня в порядочном доме не завелись духи или ведьмы.

– Нет у вас никакой причины сомневаться в миледи, госпожа Глендининг, ни в словах ее, ни в поступках, – возразила Тибб несколько обиженным тоном. – А что до девочки, то всем известно, что она родилась девять лет назад, в канун Дня всех святых. А те, что родились накануне этого праздника, видят то, что недоступно другим.

– Так, вероятно, потому-то девочка и не подняла крика, когда увидела его? Ежели бы это случилось с моим Хэлбертом (не говоря уж об Эдуарде, который мягче нравом), он бы всю ночь проревел от страха. Но похоже, что для мистрис Мэри это дело привычное.

– Может, и так, – отвечала Тибб, – ведь я же говорю, она родилась в канун Дня всех святых, в самую полночь, когда, по словам нашего старого приходского священника, праздничный день уже начался. Но вообще-то наша девочка, вы сами видите, совсем как другие дети. И если бы не сегодняшний благословенный вечер и еще тот раз, когда мы в болоте застряли, когда сюда ехали, нельзя сказать, чтобы она видела такое, чего другие не видят.

– Но что же она могла увидеть на болоте, – заинтересовалась госпожа Глендининг, – кроме белых куропаток и болотных уток?

– Увидела что-то вроде белой леди, которая и показала, куда нам ехать, когда мы чуть не завязли в трясине. Но по правде сказать, и Шаграм тогда уперся, и Мартин думает, что он тоже что-то видел.

– А что же это была за белая леди? – продолжала Элспет. – Вы ни о чем не догадываетесь?

– Да это же всем известно, госпожа Элспет, – отвечала Тибб, – и если бы вам довелось жить со знатными людьми, как мне, вы бы об этом не спрашивали.

– Я всегда проживала в своем собственном доме, – заметила Элспет довольно резко, – а если мне и не приходилось жить со знатными людьми, то знатные люди пришли жить ко мне.

– Что вы, что вы, сударыня! – воскликнула Тибб. – Вы меня извините, у меня и в мыслях не было вас обидеть. Но дело-то вот какое: старые знатные семьи не могут обходиться обыкновенными святыми (да будет благословенно их имя), как, скажем, святой Антоний^[87] или святой Катберт^[88] и другие, которых всякий грешник может позвать на помощь. У них есть свои собственные святые, или ангелы, или как их еще там называют. А что до Белой девы из замка Эвенелов, так она известна во всей округе. И ее всегда видят, как она плачет и рыдает перед тем, как кому-нибудь умереть в семье. И ее как раз такой и видели человек двадцать перед кончиной Уолтера Эвенела, мир праху его!

– Если она больше ничего не умеет, – заметила Элспет несколько презрительно, – то не за что ее уж так почитать. Что же она, не может оказать им настоящей помощи, а только смотрит на них со стороны?

– Если уж на то пошло, Белая дева может сделать много добра, да в старину и делала, – возразила Тибб, – но на моей памяти такого не было, разве вот когда девочка увидела ее на болоте.

– Ну что же, Тибб, – сказала госпожа Глендининг, вставая и зажигая железную лампу, – это, видно, их особенное преимущество, ваших знатных господ. Но Богородица и апостол Павел достаточно святы для меня. Они никогда не оставят меня на болоте, если могут помочь мне выбраться оттуда, – я ведь под каждое Сретение ставлю им в часовнях по четыре восковых свечи. А если никто и не увидит, чтобы они рыдали над моей могилой, зато уж они возрадуются моему светлому воскресению, да пошлет Господь его всем нам. Аминь.

– Аминь, – набожно повторила Тибб, – а теперь мне пора накрыть торф: огонь-то в очаге почти заглох.

И она расторопно принялась за дело.

Вдова Саймона Глендининга приостановилась на минутку, чтобы обвести пристальным хозяйским взглядом всю залу и убедиться, что все в порядке, а затем, пожелав Тибб доброй ночи, удалилась на покой.

– Тоже, подумаешь, важная птица! – проворчала Тибб себе под нос. – Оттого, что она была женой лэрда, она передо мной нос задирает, когда я служу у такой знатной леди, как моя госпожа. – Дав этой краткой сентенцией выход своему раздражению, Тибб тоже отправилась спать.

Глава V

*Кричите вы: «Монах!» Как соберет
Хромой пастух разбредшееся стадо?
Как пес, который лаять не умеет,
Загонит в хлев заблудшую овцу?
Ему сподручней греться у камина,
Вдыхая ароматы вкусных блюд,
Которые ему готовит Филлис^[89],
Чем схватываться с волком на снегу.*

«Реформация»

Здоровье леди Эвенел становилось все хуже. За несколько лет после кончины супруга она, казалось, постарела на полстолетия. Она утратила стройность и гибкость фигуры, живость и яркость красок и стала худой, бледной и слабой. Она как будто ни на что не жаловалась. Но для всякого было очевидно, что силы ее тают с каждым днем. Наконец, губы ее побелели, а глаза померкли. Однако она не выражала никакого желания позвать священника, пока Элспет Глендининг в своем усердии сама не коснулась этого деликатного вопроса, столь существенного, по ее мнению, для спасения души. Элис Эвенел кротко выслушала ее и поблагодарила за внимание.

– Если найдется хороший священник, который возьмет на себя труд добраться до нас, – сказала она, – я буду рада. Ибо молитвы и наставления достойных людей всегда полезны.

Это покорное согласие не совсем удовлетворило Элспет Глендининг, которая хотела или ожидала совсем иного. Но она заменила некоторое равнодушие благородной леди ко благу духовного назидания своим собственным неукротимым рвением; Мартин тотчас же был отправлен со всей поспешностью, на которую был способен Шаграм, в монастырь Святой Марии, дабы пригласить одного из святых отцов прибыть к ним и оказать радость последнего утешения вдове Уолтера Эвенела.

Когда ризничий^[90] доложил лорду-аббату^[91], что вдова покойного Уолтера Эвенела, проживающая в башне Глендеарг, очень плоха и жаждет утешения духовника, почтенный настоятель, выслушав просьбу, призадумался.

– Мы хорошо помним Уолтера Эвенела, – произнес он наконец, – он был храбрый и достойный рыцарь; южане отобрали у него земли и убили его... А не может ли его супруга прибыть сюда, к нам, для таинства исповеди? Дорога туда дальняя и трудная.

– Леди Эвенел нездорова, святой отец, – отвечал ризничий, – и не в состоянии вынести путешествие.

– Да, правда... Ну что же... Тогда кто-нибудь из братии должен поехать к ней... Скажи-ка, ты не знаешь, получила она свою вдовью часть из наследства Уолтера Эвенела?

– Сущие пустяки, святой отец, – ответил ризничий. – Она проживает в Глендеарге со времени смерти супруга, почти что из милости у бедной вдовы, по имени Элспет Глендининг.

– А ты, видно, знаком со всеми вдовушками в нашей округе, – заметил аббат. – Хо-хо-хо! – И его полное тело начало сотрясаться от собственного остроумия.

– Хо-хо-хо! – отозвался ризничий, вторя ему в том тоне и созвучии, в каком обычно подчиненный радуется шутке начальника. Затем он присовокупил, неестественно фыркая и хитро подмигивая: – Ведь это наш долг, святой отец, утешать вдов. Хи-хи-хи!

Этот последний взрыв смеха был более сдержан, поскольку от аббата зависело, продолжить или прекратить шутку.

– Хо-хо! – засмеялся аббат. – Ну, довольно шутить. Отец Филипп, облачись для поездки верхом и поезжай исповедовать эту госпожу Эвенел.

– Но... – возразил ризничий.

– Пожалуйста, без «но». Не может быть никаких «но» или «если», когда настоятель говорит с монахом, отец Филипп. Мы должны поддерживать строжайшую дисциплину – без того уже ересь растет, точно снежный ком, – народ хочет исповедоваться у бенедиктинцев и слышать их проповеди, а не иметь дело с нищенствующей монашеской братией, и мы не должны оставлять наш вертоград втуне, хотя возделывать его – тяжелый труд.

– И притом не слишком выгодный для святой обители, – добавил ризничий.

– Твоя правда, отец Филипп. Но разве ты не знаешь, что, препятствуя злу, мы делаем добро? Этот Джулиан Эвенел ведет беспутный и пагубный образ жизни, и, если мы проявим небрежение к нуждам вдовы его брата, он способен разграбить наши земли, а мы не сможем поставить ему это в вину. Притом же это наш долг – проявить внимание к древней фамилии, которая в свое время много пожертвовала на обитель. Скорее же в путь, брат мой. Скажи день и ночь, если понадобится, и пусть люди увидят, сколь ревностны аббат Бонифаций и его верные чада в исполнении своего духовного долга. Да не остановит нас усталость, ибо ущелье тянется на пять миль, да не остановит нас страх, ибо долину, говорят, посещают духи, – ничто не должно отвратить нас от следования нашему благому призванию, к вящему посрамлению клеветников еретиков и укреплению и возвеличению истинных и верных сынов католической церкви. Желал бы я знать, что скажет на это отец Евстафий?

Глубоко взволнованный нарисованной картиной трудов и опасностей, которые предстоит преодолеть, и той славы, которую он в результате приобретет (хотя и передоверив труды и опасности другому лицу), аббат не спеша направился в трапезную доканчивать завтрак, в то время как ризничий без всякой охоты последовал за старым Мартином, возвращавшимся в Глендеарг. Надо заметить, что из всех трудностей на пути труднее всего оказалось сдерживать резвого мула, дабы заставить его шагать вровень с несчастным, измученным Шаграмом.

Пробыв целый час наедине с исповедницей, монах вышел мрачный и задумчивый. Госпожа Элспет, которая приготовила в зале кое-какое угощение для почетного гостя, была поражена его явным смущением. Она взидала на него с тревогой. Ей казалось, что весь его вид говорит скорее о том, что ему пришлось выслушать признание в страшном преступлении, чем напутствовать к будущей жизни грешницу, примирившуюся со всем земным. После долгих колебаний Элспет не смогла удержаться от искушения задать вопрос. Она уверена, сказала она, что миледи удалось без труда облегчить свою душу. Они прожили вместе пять лет, и она по совести может сказать, что не встречала женщины, которая вела бы более примерную жизнь.

– Женщина, – сурово возразил ризничий, – ты говоришь о том, чего не знаешь. Какая польза чистить посуду снаружи, когда внутри она покрыта плесенью ереси?

– Конечно, наши блюда и деревянные тарелки должны были бы быть еще чище, святой отец, – отвечала Элспет, лишь наполовину понимая, что он сказал, и принимаясь вытирать фартуком пыль с посуды, полагая, что он жалуется на ее нечистоту.

– Что вы, госпожа Элспет! – воскликнул монах. – Ваша посуда так чиста, как только могут быть чисты деревянные блюда и оловянные сосуды. Плесень, о которой я говорю, – это та чумная зараза, которая каждый день все более проникает в нашу святую шотландскую церковь, подобно губительному червю, что забирается в розовый венок на челе невесты.

– Мать Пресвятая Богородица! – воскликнула госпожа Элспет, осеняя себя крестным знаменiem. – Неужто же у меня живет еретичка?

– Нет, Элспет, нет, – отвечал монах, – было бы слишком жестоко с моей стороны высказывать такое мнение об этой несчастной леди, но мне хотелось бы иметь право сказать, что ее совершенно не коснулись еретические взгляды. Увы! Скверна эта носится в воздухе, как моро-

вая язва в полдень, и заражает даже самых лучших, самых чистых овец стада. Ведь нетрудно убедиться, поговорив с этой дамой, что она так же начитанна, как и высокородна.

– Она пишет и читает, мне думается, не хуже вашего преподобия, – сказала Элспет.

– Кому же она пишет и что она читает? – живо откликнулся монах.

– Вообще, – отвечала Элспет, – я не могу сказать, чтобы она при мне когда-нибудь писала, но ее бывшая служанка – теперь она обслуживает всю нашу семью – говорит, что она умеет писать. А что до чтения, так она часто читала нам вслух поучения из толстой черной книги с серебряными застежками.

– Покажите мне эту книгу! – поспешно сказал монах. – Заклинаю вас верностью вашего вассального подчинения... вашей преданностью святой католической церкви... сейчас же... сейчас же покажите ее мне!

Добрая женщина колебалась, встревоженная впечатлением, какое ее слова произвели на духовника. К тому же она полагала, что книга, столь благоговейно изучаемая такой почтенной особой, как леди Эвенел, не могла содержать в себе чего-либо вредного. Однако, побуждаемая окриками, восклицаниями и даже угрозами отца Филиппа, она в конце концов принесла ему роковую книгу.

Это было очень легко сделать, не возбуждая подозрений со стороны владелицы, во-первых, потому, что та в изнеможении после долгой беседы с духовником отдыхала в постели, и, во-вторых, потому, что в ту маленькую комнату в башне, где, наряду с кое-какими ценными вещами, хранилась и книга, проход был через особую дверь. Сама же леди Эвенел меньше всего думала о сохранности книги; кому и для чего она могла понадобиться в семействе, где никто не знал грамоты и где не бывало ни одного грамотного человека?

Поэтому госпоже Элспет без особых трудов удалось достать книгу, но совесть ее была неспокойна. В глубине души она упрекала себя в неблагоприятном и негостеприимном поступке в отношении близкого человека и друга. Перед ней стоял человек, облеченный двойною властью – светской и духовной. Откровенно говоря, она бы все же, при иных условиях, нашла в себе достаточно твердости, чтобы противостоять этому двойному авторитету. Но (к моему огорчению, я должен в этом сознаться) ее отпор был значительно ослаблен любопытством (свойственным всем дочерям Евы) узнать наконец тайну книги, которую леди Эвенел ценила так высоко и в то же время читала так осторожно. Надо сказать, что Элис Эвенел никогда не прочитывала ни единой страницы, не убившись предварительно, что железная дверь башни накрепко заперта. И даже тогда, судя по отрывкам, которые она читала, она скорее стремилась познакомить своих слушателей с добродетельными поучениями этой книги, чем превращать ее в символ новой веры.

Когда Элспет, то ли с любопытством, то ли с угрызениями совести, вручила книгу монаху, он, перелистав ее, воскликнул:

– Так и есть! Я так и думал! Где мой мул? Скорее оседлайте мне мула. Я здесь больше не могу оставаться. Очень, очень похвально ты поступила, дочь моя, что вручила мне эту опаснейшую книгу.

– Что же в ней, колдовская сила или дьявольщина? – спросила испуганная Элспет.

– Нет, боже избави! – отвечал монах, перекрестившись. – Это Священное Писание, но оно изложено народным языком^[92] и посему, согласно указанию святой католической церкви, не может находиться в руках мирян.

– Но ведь Священное Писание указывает всем нам путь ко спасению, – возразила Элспет. – Святой отец, просветите мое невежество. Не может же недостаток ума быть смертным грехом, и, право, мне бы очень хотелось прочесть Священное Писание.

– Как вам этого не желать! – отвечал монах. – Именно так наша прародительница Ева стремилась познать добро и зло, так грех и вошел в мир, а за ним и смерть.

– Истинно так, ваша правда! – согласилась Элспет. – Ох, если бы только миледи во всем поступала по советам апостолов Петра и Павла!

– Если бы она только уважала заветы отца небесного! – продолжал монах. – Ей даны были и рождение, и жизнь, и радость, но с тем, чтобы она не нарушала небесных предначертаний, закрепленных этими дарами. Истинно говорю вам, Элспет: слово убивает. Это значит, что Священное Писание, прочтенное неумелым глазом и неосвященными устами, подобно сильнодействующему лекарству, которое больные должны принимать по предписанию врача. Тогда они поправляются и благоденствуют. Но ежели они начнут пользоваться им по своему собственному разумению, то от собственной руки погибнут.

– Истинно, истинно так! – промолвила сбитая с толку Элспет. – Вам, уж конечно, лучше знать, ваше преподобие!

– Вовсе не мне, – возразил отец Филипп со всем смирением, какое, по его мнению, приличествовало ризничему монастыря Святой Марии, – не мне, а его святейшеству Папе, главе всех христиан, и нашему настоятелю, лорду-аббату святой обители. Я сам, убогий монастырский ризничий, могу лишь повторять то, что я слышал от выше меня стоящих. Но в одном будь уверена, добросердечная женщина, будь совершенно уверена: слово – слово само по себе – убивает. Но церковь располагает проповедниками для толкования слова и распространения его среди благочестивой паствы... Я говорю здесь, возлюбленные братья, то есть я хотел сказать – возлюбленная сестра (ризничий невольно прибег к привычному обращению из конца проповеди), я говорю здесь не столько о протоиереях и иереях и вообще о белом, или мирском, духовенстве (так прозванном, ибо оно живет в мире и по его заветам и свободно от преград, отъединяющих нас от мира); я говорю далее не столько о нищенствующей братии (будь они в черных рясах или в серых, с крестами или без крестов); я говорю здесь о монахах, и в особенности – о монахах-бенедиктинцах, связанных уставом святого Бернарда Клервоского^[93] и носящих имя цистерцианцев^[94]. Это большое счастье и великая слава для нашей страны, возлюбленные братья, – я хотел сказать – возлюбленная сестра, – что именно монахи обители Святой Марии проповедуют здесь слово Божие. Ибо хотя я сам всего лишь недостойный чернец, но должен заметить, что ни одна обитель в Шотландии не дала столько святых, столько епископов и столько пап (да будет благословенно имя наших великих покровителей!), как наш монастырь. А посему... Но я вижу, Мартин уже оседлал моего мула, и мне теперь остается только проститься с вами братским поцелуем (в коем нет стыда) и отправиться в многотрудный путь, ибо ваша долина пользуется дурной славой по причине обитающих в ней злых духов. Мало того – я могу не попасть засветло к мосту, и тогда мне придется переходить реку вброд, а вода, как я успел заметить, прибывает.

На этом ризничий покинул госпожу Элспет, совершенно сбитую с толку как стремительностью его высказываний, так и содержанием его речей и, кроме того, далеко не спокойную в отношении книги, так как голос совести подсказывал ей, что не следовало сообщать о ней кому бы то ни было без ведома владелицы.

Как ни спешили монах и его мул поскорее добраться до более спокойных мест, чем Глендеарг, как ни горячо было желание отца Филиппа первым доложить настоятелю, что экземпляр опаснейшей книги нашелся тут, поблизости, во владениях аббатства, как ни понуждали его некоторые особые причины проскочить как можно скорее через мрачное ущелье со столь дурной репутацией, все же и плохое состояние дороги, и непривычка к быстрой езде сделали свое дело, так что сумерки наступили прежде, чем он выбрался из узкой долины.

Путешествие было действительно нерадостным. Склоны ущелья подступали друг к другу так близко, что при каждом повороте дороги тень, падая с запада, погружала восточный берег в совершенную тьму; колеблемые ветром ветви и листья частого кустарника как-то зловеще кивали ему. А утесы и скалы теперь, ночью, представлялись монаху и выше и мрачнее, чем были днем, когда он ехал в Глендеарг, и притом не один. Таким образом, отец Филипп ожил

душой, когда он наконец выехал из ущелья на широкое пространство поймы реки Твид. Величественные воды этой реки текли то плавно, то бурно, но всегда полноводно и мощно, не в пример иным шотландским рекам. Надо сказать, что Твид даже в засуху течет вровень со своими берегами и почти не дает возможности разрастаться камышу, тогда как заросли его обычно уродуют берега весьма многих прославленных шотландских рек.

Монах, безучастный к красотам природы (в те времена природа не считалась достойной внимания), был все же, подобно предусмотрительному полководцу, весьма обрадован, что выбрался наконец из тесного ущелья, где враг мог застигнуть его врасплох. Он подобрал поводы и перевел мула на привычную плавную иноходь вместо беспокойной и тряской рыси, доставлявшей седоку величайшие неудобства. Затем он вытер пот со лба и принялся спокойно и равнодушно созерцать луну, которая, разгоняя вечерний сумрак, начала подниматься над полями и лесами, деревнями, сторожевыми башнями и над величавыми строениями монастыря, тонувшими вдали в призрачном желтоватом свете.

Главным недостатком этого ландшафта, по мнению монаха, было то, что монастырь находился по ту сторону реки, а прекрасных мостов, ныне перекинутых через ее воды, тогда еще не существовало. Тогда имелся всего лишь один мост, ныне разрушенный; впрочем, любознательный исследователь еще может обнаружить его развалины.

Мост этот имел весьма своеобразный вид. На обоих берегах реки – в самой узкой ее части – были выстроены два мощных каменных устоя. В середине реки, на утесе, торчащем из воды, был построен еще один крепкий упор (вроде мостового быка), углом своим противопоставленный течению и достигавший уровня береговых устоев, а на нем высилась башня.

Нижний этаж ее был занят огромной аркой, или сквозными воротами, ведущими через строение. Ворота с той и другой стороны были прикрыты подъемными мостами с их противовесами. Когда оба моста были спущены, проход через арку соединялся с береговыми устоями (на них падали концы подъемных мостов), и путь через реку был открыт.

Сторож, охранявший мост (он был крепостным одного из соседних баронов), жил со своей семьей во втором и третьем этажах башни. Сама же башня, когда подъемные мосты были сняты, представляла собой крепость посередине реки. Сторожу предоставлено было право взимать небольшую пошлину, или подать, за переход через мост, а так как размер ее не был установлен, между ним и проезжающими иногда возникали пререкания. Нечего и говорить, что в этих спорах сторожу обычно принадлежало последнее слово, так как он при желании мог оставить путешественника на берегу или даже завлечь его на середину моста, а затем запереть в башне, покуда тот с ним не договорится о размере взимаемого мыта.

Но особенно частыми были ссоры сторожа с монахами монастыря Святой Марии. К великому его неудовольствию, святые отцы добивались – и наконец добились – права бесплатного перехода через мост. Однако, когда они захотели распространить эту льготу на многочисленных паломников, посещавших монастырь, сторож взбунтовался и был поддержан своим господином. Распря с обеих сторон разгорелась жестокая. Настоятель монастыря грозил отлучением от церкви. Сторож не мог отплатить ему тем же, но зато задерживал, как бы в чистилище, каждого монаха, которому нужно было перейти через мост. Все это было крайне неудобно и могло стать совершенно нестерпимым, если бы человек на коне в хорошую погоду не имел возможности перебраться через реку вброд.

Стояла дивная лунная ночь, как мы уже упоминали, когда отец Филипп приблизился к этому мосту, своеобразное устройство которого давало любопытное представление о трудностях жизни в те времена. Река не разлилась, но вода держалась выше, чем обычно (местные жители называют такую воду тяжелой), и монаху, конечно, не хотелось пробираться через нее вброд, когда можно было этого избежать.

– Питер, приятель! – громко воззвал ризничий. – Старый друг мой Питер, сделай милость, опусти мост. Эй, Питер, разве ты не слышишь? Отец Филипп тебя кличет!

Питер прекрасно его слышал и вдобавок отлично видел, но так как он считал именно ризничего главным врагом в своих распри с монахами, то, ничтоже сумняшеся, отправился спать. Однако предварительно через отверстие в бойнице он проследил за тем, что же монах собирается делать, и сказал своей жене:

– Переплыть реку верхом при луне ризничему будет только полезно. Это научит его в следующий раз по-настоящему оценить пользу моста, по которому можно всегда, как зимой, так и летом, в полую воду и в засуху, перейти на ту сторону спокойно и не промокнув.

Накричавшись до хрипоты, умоляя и угрожая (ни на то, ни на другое мостовой Питер, как его звали, не отозвался никак), отец Филипп отправился вниз по реке отыскивать удобное место для переправы. Проклиная мужицкое упорство Питера, он все же принялся утешать себя мыслью, что перейти реку вброд не только безопасно, но даже приятно. Крутые берега и росшие на них местами деревья так живописно отражались гладью темной реки, а окружающая прохлада и тишина составляли такой приятный контраст с его недавним возбуждением, когда он тщетно пытался умиловить непреклонного мостового стража, что у него даже отлегло от сердца.

Когда отец Филипп подошел к тому месту на берегу, где ему надлежало войти в воду, он вдруг увидел, что под поверженным дубом (или, вернее, под остатками дуба) сидит, и плачет, и ломает руки женщина, устремив пристальный взгляд на реку. Монах был крайне поражен тем, что встретил существо женского пола в таком месте и в такой поздний час. Но он был истым рыцарем в самом высоком значении этого слова (может быть, и более того, но это уж на его совести) в отношении дам.

Внимательно рассмотрев девушку (хотя она сама, казалось, не обращала на него никакого внимания), он был тронут ее отчаянием и готов был сейчас же предложить ей свою помощь.

– Барышня! – сказал он. – Вы, видно, сильно расстроены. Может, с вами случилась та же беда, что и со мной? Вам этот грубиян сторож не разрешил перейти через мост, и это помешало вам исполнить обет или какой-нибудь священный долг?

Девушка произнесла нечто невнятное, посмотрела на реку и затем взглянула в лицо ризничему. И в этот момент отцу Филиппу вдруг пришло в голову, что в обители Святой Марии уже давно дожидаются приезда одного именитого вождя горного клана для поклонения монастырским святыням и что, возможно, эта хорошенькая девушка принадлежит к его семейству, но путешествует одна во исполнение какого-либо обета или отстала от своих из-за какой-либо случайности, а посему будет вполне уместно и благоразумно оказать ей всяческое внимание, в особенности учитывая то, что она, видимо, не говорит на нижнешотландском наречии. Такова была та единственная причина, на которую впоследствии ссылался ризничий в оправдание своей исключительной любезности; если же им руководила и иная, тайная причина, то я еще раз замечу, это дело его совести.

Принужденный объясняться знаками, на языке, понятном всем народам, предупредительный ризничий сначала указал перстом на реку, затем на круп своего мула и, наконец, так грациозно, как только мог, жестом пригласил прекрасную незнакомку занять место на седле позади себя. Она, по-видимому, поняла его, так как встала, чтобы принять его приглашение; но в то время как добрый монах (который, как мы уже упоминали, не был искусным наездником), усиленно работая правым шенкелем и левым поводом, старался пододвинуть мула боком к выступу берега, чтобы даме было удобнее взобраться на седло, незнакомка вдруг, с поистине чудесной легкостью, одним прыжком очутилась на спине животного, непосредственно за его спиной, как весьма умелый ездок. Мул как будто вовсе не был обрадован этой двойной ношей – он прыгал, лягался и непременно скинул бы отца Филиппа через голову, если бы девушка своей сильной рукой не удержала монаха в седле.

Постепенно непокорное животное пришло в себя и переменяло тактику: вместо того чтобы стоять, упершись, на месте, оно вдруг, вытянув морду, побежало к броду и со всех ног

кинулось в воду. Тут монахом овладел новый страх – брод оказался необыкновенно глубоким, так что вода, журча и вздымаясь по бокам мула все выше, вскоре стала захлестывать животному холку. Отец Филипп совершенно потерял присутствие духа (впрочем, особой выдержкой он никогда и не отличался) и перестал следить за тем, чтобы голова мула была направлена к противоположному берегу. Мул не мог противостоять силе течения, потерял брод и почву под ногами и поплыл вниз по реке. И тут произошло нечто более чем странное: несмотря на чрезвычайную опасность, девушка начала петь, чем еще усугубила ужас достойного ризничего (если это только было возможно):

I

Плывем мы весело, блещет луна,
Зыбью неясной мерцает волна...
Ворон встревоженный каркнул над нами,
Мы проплываем как раз под ветвями...
Ветви дубовые так широки,
Их тени бегут посредине реки.
«Кто будит птенцов моих? – ворон грозитя. –
Мой клюв его кровью с зарей обагрится!
Я труп посиневший, распухший люблю,
С угрем и со щукой его разделю!»

II

Плывем мы весело, блещет луна,
За холмом золотая полоска видна.
Серебряный ливень летит над ольхою,
Плакучие ивы шуршат над рекою...
Башни аббатства у самых глаз,
Из келий монахи в вечерний час
К часовне спешат и дрожат невольно:
Не по Филиппе ли звон колокольный?

III

Плывем мы весело, блещет луна,
И тенью и светом река полна...
Водовороты спят под скалою,
Так тихо над темною глубиною.
Келпи^[95] поднялся из бездны вод,
Он факел смерти зажег, и вот
Смотри, монах, и смешно тебе станет,
Коль злобная харя в лицо тебе глянет!

IV

Счастливо удить! А кого же ты ждешь?
Из слуг кого иль кого из вельмож?
Мирянин иль поп в твой челнок садится,
Иль к милой дружок на тот берег стремится?
Чу! Слышишь, Келпи в ответ говорит:
«Спасибо сторожу, мост закрыт!
Исчезнут все в глубине бездонной:
Поп и мирянин, монах и влюбленный!»

Как долго девица могла бы продолжать пение или чем бы окончилось путешествие перепуганного монаха – сказать трудно. Но в тот момент, как она допевала последнюю строфу, они доплыли или, скорее, всплыли в широкую спокойную полосу воды у крепкой мельничной запруды, через которую река низвергалась бурным водопадом.

Благодаря ли сознательным усилиям или увлекаемый силой течения, мул изо всех сил устремился к протоку в плотине, питающему монастырские мельницы, продвигаясь вперед то вплавь, то вброд, качаясь и выматывая из несчастного монаха всю душу. Его одежды от этой качки совсем разошлись, и он, желая их запахнуть, вытащил книгу леди Эвенел, которую хранил за пазухой. Но как только он это сделал, спутница столкнула его с седла в реку, а затем, держа за шиворот, раза два-три еще окунула поглубже в ледяную воду, дабы он промок до костей. Отпустила же она его тогда, когда он оказался настолько близко к берегу, что, сделав небольшое усилие (на большое его бы просто не хватило), смог выкарабкаться на землю. Так именно он и поступил, а когда затем он стал искать глазами свою необычайную спутницу, ее и след простыл; Но над водой, сливаясь с плеском волн, разбивающихся о плотину, все еще неслась ее безумная песня:

Берег! Ура! Чернокнижник спасен!
Берег лучом еще не озарен!
Тебе повезло, невредим ты добрался,
Кто плыл со мною, тот редко спасался.

Монахом овладел невыносимый ужас – голова закружилась; шатаясь, он прошел несколько шагов вперед, натолкнулся на стену и упал без чувств.

Глава VI

*Итак, совет откроем. В том, что должно
Нам выполоть церковный вертоград
И плевелы отсеять от пшеницы,
Мы все согласны. Но как сделать это,
Не повредив ни лозы, ни колосья?
Вот в чем задача!*

«Реформация»

Вечерня в монастыре Святой Марии отошла. Аббат разоблачился, сменив свои великолепные ризы на обычное одеяние – черную рясу, которую носил поверх белого подрясника, и узкую наплечную мантию. Одеяние это, скромное и благопристойное, весьма картинно облегло представительную фигуру аббата Бонифация.

Едва ли кому-либо в мирное время удавалось с большим достоинством исполнять обязанности митрофорного аббата^[96] (таков был его титул), чем этому почтенному прелату. Правда, он был несколько избалован, что часто бывает с людьми, живущими исключительно для себя. Кроме того, он был тщеславен. И затем бывало, что, натолкнувшись на смелый отпор, он проявлял признаки неожиданной робости, которая не очень вязалась с его видным положением в церковной иерархии и с теми требованиями беспрекословного подчинения, которые он предъявлял как к монастырской братии, так и ко всем зависимым от него лицам. Но он был гостеприимен, щедр и по характеру своему не склонен к строгости. Одним словом, в иное время он бы мирно просуществовал на своем посту, ничем не отличаясь от любого «облеченного в пурпур» аббата^[97], жил бы благопристойно, но в свое удовольствие, спал бы безмятежно и не страдал от сновидений.

Однако глубокое смятение, поразившее всю римско-католическую церковь в связи с распространением реформатских учений, совершенно нарушило покой аббата Бонифация, возложив на него обязанности и заботы, о которых он доселе не имел понятия. Ему пришлось оспаривать и опровергать заблуждения, назначать расследования, разоблачать и наказывать еретиков, возвращать в лоно отпавших, поддерживать дух колеблющихся, оберегать духовенство от соблазна и укреплять в его среде строгую дисциплину.

Гонцы за гонцами (на взмыленных конях и еле живые от усталости) прилетали в монастырь Святой Марии то от Тайного совета^[98], то от примаса^[99] Шотландии, то, наконец, от королевы-матери с увещаниями, одобрениями, осуждениями, с запросами дать совет по одному вопросу и с требованиями представить сведения по другому.

Эти послания аббат Бонифаций прочитывал с важным видом совершенной растерянности или – если это больше понравится читателю – с растерянным видом бесконечной важности, обнаруживая одновременно удовлетворенное тщеславие и глубокое душевное смущение.

Сент-Эндрюский примас при своем остром уме предвидел эти недостатки аббата обители Святой Марии и постарался их исправить. Он предложил ему принять в монастырь в качестве помощника приора брата цистерцианца, мужа совета и разума, преданного делу католической церкви и вполне способного не только быть советником аббата в затруднительных обстоятельствах, но и призывать его к неуклонному исполнению долга, буде он по слабости характера или робости захочет от сего уклониться.

Отец Евстафий занимал в монастыре примерно то же положение, какое в иностранных армиях занимает старый генерал, приставленный к принцу крови, который номинально числится главнокомандующим, при условии, что он не предпримет ничего без совета своего мен-

тора. Разумеется, отец Евстафий разделял судьбу всех подобных негласных руководителей – начальник так же искренне его ненавидел, как и боялся. Все же, однако, цель, намеченная примасом, была достигнута. Отец Евстафий не выходил из головы почтенного аббата, часто превращаясь для него в пугало, – он не смел пошевелинуться в постели, тотчас же не подумав о том, как отнесется к этому отец Евстафий.

В каждом затруднительном случае вызывался Евстафий и запрашивалось его мнение. Но как только затруднение устранялось, аббат уже размышлял, как ему избавиться от своего советника. В каждом письме, которое он посылал властям предержащим, он рекомендовал отца Евстафия на замещение высокой церковной должности епископа или аббата. Но, поскольку все его просьбы успеха не имели и вакансии занимались другими лицами, он стал думать (в чем он с горечью признавался ризничему), что пост помощника приора в монастыре Святой Марии, по-видимому, пожизненный.

Но он был бы возмущен гораздо более, если бы мог предполагать, что честолюбие отца Евстафия направлено на замещение его собственной должности. После нескольких апоплексических ударов, поразивших аббата (воспринятых его друзьями, в отличие от него самого, с большой тревогой), его пост мог действительно оказаться вакантным. Однако твердое убеждение аббата Бонифация в неизменной крепости своего здоровья (столь свойственное лицам, облеченным властью) мешало ему заметить какой-либо особенный расчет в намерениях отца Евстафия.

Необходимость консультироваться в важных случаях со своим советником заставляла аббата особенно стремиться избегать его советов при решении незначительных вопросов текущего управления, не без того, впрочем, чтобы каждый раз не задумываться, что бы сказал об этом отец Евстафий. Поэтому он не стал даже намекать отцу Евстафию о своем смелом намерении отправить брата Филиппа в Глендеарг. Но, когда время подошло к вечерне, а тот все не возвращался, он стал беспокоиться, тем более что у него были и другие основания для волнения. Распря с охранителем моста (или, иначе, с мостовым сторожем) грозила привести к серьезным последствиям, поскольку претензии его были поддержаны воинственным бароном, его господином; и, кроме того, были получены срочные письма от примаса, весьма неприятного содержания. Подобно подагрику, который хватается за костыль и в то же время проклиная болезнь, вынуждающую его им пользоваться, аббат хоть и с отвращением, но был вынужден пригласить отца Евстафия после богослужения к себе на дом, или, вернее, в свой дворец, который вплотную примыкал к монастырю и составлял с ним одно целое.

Аббат Бонифаций восседал в высоком деревянном кресле (спинка его, сплошь украшенная резьбой, заканчивалась митрой) у камина, где два-три огромных полена уже превратились в сплошную массу раскаленных углей. Подле него, на дубовом столике, стояла тарелка с остатками жареного каплуна, составившего вечернюю трапезу его преподобия вкупе с доброю бутылкой бордо отменного качества. Взор его рассеянно следил за игрой пламени, а сам он был погружен в мысли о своем прошлом и размышления о будущем – и в то же время был занят тем, что пытался угадать очертания башен и колоколен в горящих углях.

«Да, – думал аббат, – из этой пламенной груды встают в моем воображении мирные башни Дандренана, где текла моя жизнь, прежде чем я был призван к власти и заботам. Мы были мирным братством и строго выполняли правила монастырского обихода. А если кто-нибудь из нас, по слабости человеческой, впадал в искушение, он исповедовался братии, и мы отпускали ему грех, и самым суровым наказанием для виновного были наши насмешки. Мне так и кажется, что я вижу перед собой монастырский сад с грушевыми деревьями, которые я прививал собственными руками. И на что я променял все это? Я завален делами, которые меня не касаются, зато меня называют владыка аббат, хотя я и нахожусь под опекой отца Евстафия! Как бы мне хотелось, чтобы эти огненные башни оказались аббатством Эбербросуик, и пусть бы отец Евстафий был там настоятелем! Да хоть бы он сгорел, но только бы освободил меня от

своего присутствия! Примас говорит, что у нашего святейшего отца Папы тоже есть советник, но я убежден, что он бы недели не прожил с таким советником, как мой. И ведь никак не разберешь, что он, собственно, думает, пока не признаешься, какие у тебя затруднения. Одним намеком тут не обойдешься. Он точно скряга, который гроша медного не вынет из кошелька, пока несчастный, который просит о помощи, не признается в своей нищете и, пристав с ножом к горлу, не исторгнет милостыню. И вот так я бываю унижен перед лицом монастырской братии, которая может любоваться, как со мной обращаются точно с неразумным младенцем... Нет, я не могу это больше выносить!»

– Брат Беннет! (Послушник тотчас явился на его зов.) Пойди скажи отцу Евстафию, что я в нем не нуждаюсь.

– Я пришел доложить вашему преподобию, что святой отец идет по галерее и сейчас будет здесь.

– Ну хорошо, – ответил ему аббат, – я буду рад его видеть. Убери со стола – или нет, принеси тарелку; святой отец, может быть, проголодался. Хотя нет, приberi здесь – все равно с ним за столом по душам не поговоришь. Впрочем, оставь бутылку вина и подай еще кубок.

Послушник исполнил эти противоречивые приказания, как ему казалось, наиболее пристойным образом: убрал обглоданный остов каплуна и водрузил два кубка рядом с бутылкой бордо. В этот момент вошел отец Евстафий.

Это был худощавый, с изможденным лицом, человечек, но у него были такие острые серые глаза, что, казалось, они могли просверлить собеседника насквозь. Тело его было изнурено не только постами, которые он соблюдал с неуклонной строгостью, но и постоянной, неутомимой работой его острого и проницательного ума:

Влеком душою пламенной вперед,
Погибели он тело предает...
Из праха дух свершает свой исход^[100].

Войдя, он поклонился лорду-аббату с подобающим почтением. Глядя на них обоих, когда они стояли рядом, едва ли можно было себе представить больший контраст по внешности и по характеру. Добродушное, румяное, с веселыми глазами лицо аббата, которое не могло быть омрачено даже его теперешним беспокойством, представляло резкую противоположность впалым, бледным щекам и быстрому, пронизывающему взору монаха, взору, в котором светился ум живой и незаурядный, придававший глазам почти сверхъестественный блеск.

Аббат начал беседу с того, что указал посетителю на стул и предложил выпить кубок вина. Эта любезность была отклонена весьма почтительно, но не без замечания, что вечерня уже отошла.

– Для пользы желудка, брат мой, – сказал аббат, слегка краснея. – Вы же знаете Писание.

– Сие небезопасно, – отвечал монах, – пить одному, да еще в столь поздний час. Вне содружества с людьми виноградный сок превращается в коварного товарища одинокого бдения, а посему я воздерживаюсь от него.

Аббат Бонифаций только что налил себе в кубок около половины английской пинты, но, то ли пораженный справедливостью замечания, то ли стесняясь поступить ему наперекор, он оставил кубок нетронутым и поспешил переменить разговор.

– Примас нам пишет, – начал он, – чтобы мы произвели в наших владениях строжайший обыск, дабы обнаружить еретиков, поименованных в этом списке, но скрывшихся от заслуженного возмездия. Есть предположение, что они захотят пробраться через наши границы в Англию, и примас требует, чтобы я был неуклонно бдительным и все прочее.

– Разумеется, – заметил монах, – власть имущий не должен держать свой меч в ножнах – он обязан поразить им тех, кто готов весь мир перевернуть вверх дном. И, без сомнения, ваша

испытанная мудрость с должным усердием поддержит требования высокопреосвященного владыки, без устали отражающего нападения на святую церковь.

– Конечно, но как это сделать? – отвечал аббат. – Да поможет нам Пресвятая Дева! Примас обращается ко мне, точно я светский барон, точно я военачальник и командую отрядом солдат! Хорошо ему говорить: «Пошлите людей, очистите страну, сторожите перевалы!» Право, этих разбойников голыми руками не возьмешь. Последний раз, когда их банда пробиралась на юг через высохшее болото в Райдингберне (о чем нам сообщил высокочтимый брат наш, аббат из Келсо), они имели при себе эскорт в тридцать копий. Как нам, инокам в клобуках и мантиях, преградить им путь?

– Управляющий вашими владениями слывет искусным воином, святой отец, – возразил Евстафий, – а ваши вассалы обязаны подняться на защиту святой церкви – на этом условии они владеют своими землями. Если же они не способны выступить во имя церкви, дающей им хлеб, то пусть передадут свои участки кому-нибудь другому.

– Мы не преминем совершить все то, что послужит к вящей славе святой церкви, – произнес аббат, надуваясь от важности. – Ты сам сочинишь приказ управляющему и другим нашим подчиненным. Но тут еще одно дело: это недоразумение с мостовым сторожем и бароном Мейгалотом. Пресвятая Дева Мария! Столько огорчений сваливается сразу на обитель и на паству, что просто не знаешь, с чего начать! Ты говорил нам, отец Евстафий, что поищешь в наших бумагах, нет ли там чего относительно беспопытного прохода паломников через мост?

– Я пересмотрел все хранилище хартий в нашей обители, святой отец, – отвечал Евстафий, – и нашел в нем составленный в надлежащей форме акт на имя аббата Эйлфорда и братии монастыря Святой Марии в Кеннаквейре, освобождающий на вечные времена от всяких поборов и пошлин за проход через подъемный мост в Бригтоне не только иноков обители, но и всех паломников, идущих поклониться монастырским святыням. Документ этот выдан в канун дня поминовения святой Бригитты в лето искупления тысяча сто тридцать седьмое и скреплен подписью и печатью дарителя, Чарлза Мейгалота, прапрадеда нынешнего барона. Дар им совершен ради спасения его души, во благо и во спасение душ его отца и матери, и всех его предков, и всех будущих потомков, носящих имя Мейгалот.

– Но нынешний барон ссылается на то, – возразил аббат, – что мостовые сторожа беспрепятственно пользуются своим правом уже более пятидесяти лет, и вдобавок он еще угрожает нам силой. А пока суд да дело, передвижение паломников задерживается, в ущерб спасению их душ и во уменьшение доходов обители Святой Марии. Ризничий советует нам завести лодку; но сторож, этот известный нечестивец, клянется дьяволом, что, если только будет спущена лодка на реку, принадлежащую его господину, он разобьет и расколотит ее в щепы. Но кое-кто дает нам иной совет: выкупить право на сбор мыта за небольшую сумму серебра... – Сказав это, аббат запнулся, как бы ожидая ответа, но, не получив его, прибавил: – Ну что же ты на это скажешь, отец Евстафий? Отчего ты молчишь?

– Оттого, что я поражен, как может лорд-аббат обители Святой Марии задавать подобный вопрос одному из младших иноков.

– Младшему по времени пребывания с нами, брат Евстафий, – возразил ему аббат, – но не младшему по годам, мне думается, по жизненному опыту, и притом еще помощнику приора нашего монастыря.

– Меня удивляет, – продолжал Евстафий, – что настоятель этого высокочтимого дома Господня может вопрошать кого бы то ни было, имеет ли он право отчуждать собственность нашей святой и божественной покровительницы церкви или уступать бессовестному барону (да еще, может быть, еретiku) права и преимущества, принесенные в дар церкви его благочестивым предком. И папы, и священные соборы решительно запрещают это: во имя спасения живых и упокоения душ умерших следует воспрепятствовать этому – да не будет сего никогда. Мы принуждены будем, может быть, уступить силе, если он посмеет прибегнуть к ней, но

никогда мы не пойдем добровольно на то, чтобы достояние церкви было бессовестным образом разграблено, подобно тому как этот барон грабит стада быков у англичан. Приободритесь, преподобный отец, и не сомневайтесь в том, что правое дело восторжествует. Извлеките свой духовный меч и направьте его против нечестивца, посягающего на наши священные права. Извлеките свой светский меч, если потребуется, и вселите отвагу и усердие в души преданных вассалов.

Аббат тяжело вздохнул:

– Все это легко говорить, когда не самому делать. Однако...

Но тут поспешно вошел Беннет.

– Мул, на котором нынче утром отбыл ризничий, – доложил он, – прибежал обратно в монастырскую конюшню, весь мокрый, и седло болтается у него под брюхом.

– Мать Пресвятая Богородица! – воскликнул аббат. – Наш бедный брат, наверно, погиб!

– Быть не может, – живо откликнулся Евстафий. – Велите ударить в набат – пусть все братья раздобудут себе факелы, поднимите на ноги деревню, бегите все к реке, я сам побегу первый.

А аббат остался стоять, разинув рот от удивления, вдруг увидав, что им совершенно пренебрегают, и все то, что он должен был приказать, исполняется помимо него распоряжением младшего инок обители. Но прежде чем приказания отца Евстафия (которых никто не мыслил оспаривать) были приведены в исполнение, они оказались бесполезными, так как внезапно перед ними предстал сам ризничий, из-за которого поднялся весь переполох.

Глава VII

*Стереть в мозгу начертанную смуту...
Очистить грудь от пагубного груза,
Давящего на сердце.*

«Макбет»

Дрожа не то от холода, не то от страха, несчастный, насквозь промокший ризничий стоял перед настоятелем, опираясь на дружескую руку мельника, и едва мог выговорить слово.

После нескольких неудачных попыток он все же произнес довольно отчетливо:

– «Плывем мы весело, блещет луна...»

– Как «плывем мы весело»! – воскликнул в негодовании аббат. – Веселую же ночку ты выбрал для плавания, и достойно приветствуешь ты своего настоятеля!

– Брат наш, видно, не в себе, – заметил Евстафий. – Скажите, отец Филипп, что с вами?

– «Счастливо удить!» – продолжал ризничий, делая безнадежную попытку уловить мотив песни своей таинственной спутницы.

– «Счастливо удить»? – повторил за ним аббат со все возрастающим удивлением и неудовольствием. – Клянусь святой обителью, он совсем пьян и смеет в нашем присутствии орать свои непристойные песни! Ежели только это сумасшествие можно излечить, посадив несчастного на хлеб и воду...

– Прошу извинить меня, ваше преподобие, – сказал отец Евстафий, – но воды брат наш наглотался через край. И, мне думается, его дикий взгляд – это, скорее всего, следствие ужаса, и ничего недостойного тут нет. Где ты его нашел, Хоб-мельник?

– Ваше преподобие, я шел запереть мельничные шлюзы, и как я подошел к ним, вдруг слышу – кто-то стонет поблизости. Я было решил, что это боров Джайлса Флетчера, потому что он, извините, никогда своих свиней не запирает, и я замахнулся ломом и хотел было, да простит мне Пресвятая Богородица, двинуть его как следует, как вдруг слышу – святые угодники! – кто-то стонет человеческим голосом. Тут я кликнул своих парней, и мы с ними нашли отца ризничего – он лежал без чувств под самой стенкой известковой печи, мокрым-мокрехонек. Как только он немножко очухался, он стал просить, чтобы мы доставили его к вашему преподобию, но по дороге нес такую околесицу, что, надо думать, он помешался. Вот только сейчас стал говорить что-то понятное.

– Ну что же, – сказал отец Евстафий. – Молодец, Хоб-мельник. А теперь ступай, но только в другой раз помни – сначала подумай, а потом уж бей, и в особенности в темноте.

– Само собой, ваше преподобие, мне это будет наукой, – отвечал мельник. – Никогда, до конца дней своих, я уже не спутаю честного инока с боровом. – И, поклонившись низко, с глубоким смирением, мельник удалился.

– Ну, отец Филипп, раз теперь этот мужлан ушел, – обратился к ризничему Евстафий, – может быть, ты расскажешь нашему высокочтимому настоятелю, что же с тобой приключилось? Может быть, ты *vino gravatus*?³⁵ Если так, мы велим отнести тебя в келью.

– Водой, водой, а не вином, – пробормотал обессиленный ризничий.

– Ну! – воскликнул монах. – Ежели ты заболел от воды, может быть, вино тебя вылечит? – И с этими словами он протянул ему чарку, которую пострадавший выпил с явной для себя пользой.

³⁵ Отягощен вином (лат.).

– А теперь, – заметил аббат, – пусть пойдет переодеться, или пусть его лучше отведут в лазарет, а то, если он в таком виде начнет рассказывать, мы еще простудимся – от него несет такой сыростью, точно с гнилого болота.

– Я расспрошу его обо всем и доложу вам, ваше преподобие, – заявил Евстафий и пошел провожать ризничего в келью. Примерно через полчаса он вернулся к настоятелю.

– Как себя чувствует отец Филипп? – спросил аббат. – И что же с ним приключилось?

– Он вернулся из Глендеарга, досточтимый владыка, – отвечал Евстафий, – а что до остального, то он нарасказал мне таких чудес, каких никто здесь, в монастыре, и не слышивал. – И он в общих чертах поведал аббату о приключениях ризничего на пути домой и при этом добавил, что, видимо, ум у него повредился: он и пел, и смеялся, и плакал – все сразу.

– Удивительное дело! – воскликнул аббат. – Как это сатане удалось наложить свою лапу на одного из наших честных иноков?

– Ваша правда, – согласился отец Евстафий. – Но у каждого текста есть свое толкование. У меня подозрение, что если это дьявол чуть не потопил отца Филиппа, то все же тут не обошлось и без его собственной вины.

– Как так? Я не поверю, чтобы у тебя были сомнения в том, что в прежние времена сатане дано было искушать святых и угодников Божьих, хотя бы, например, праведного Иова^[101].

– Упаси боже, чтобы я в этом сомневался, – заявил монах, осеняя себя крестным знамением. – Но если есть возможность найти другое, менее чудесное объяснение для его приключения, надо, по-моему, этим воспользоваться, не решая, конечно, ничего окончательно. Теперь послушайте: у этого Хоба-мельника есть смазливая дочка. Предположим – я говорю только предположим, – что наш ризничий повстречался с ней у брода, когда она возвращалась от своего дяди, что живет по ту сторону реки (а она нынче вечером была у дяди). И вот предположим, что из любезности и чтобы избавить ее от необходимости разуваться и стаскивать чулки, ризничий посадил ее на седло позади себя, и предположим еще, что он простер свою любезность несколько далее, чем девица могла позволить, и тогда можно легко себе представить, святой отче, что купание явилось следствием этих событий.

– И он выдумал все эти сказки, чтобы обмануть нас! – воскликнул настоятель, багровея от гнева. – Но мы расследуем это дело самым подробнейшим, самым внимательным образом. Пусть не рассчитывает, что ему так легко удастся нас провести, приписав следствия своих собственных беззаконий деяниям сатаны. Призови завтра эту девчонку, чтобы она предстала перед нами: мы разберемся во всем и покараем виновного.

– Прошу простить меня, ваше преподобие, – возразил Евстафий, – но мне кажется, что это было бы неблагоприятно. По нынешним временам еретики рады всякой сплетне для того, чтобы возвести поклеп на наше духовенство. Для борьбы со злом надо не только укреплять дисциплину, но и подавлять соблазны. Если мои догадки справедливы, дочь мельника будет сама молчать обо всем, а вашему преподобию нетрудно будет своим веским словом заставить молчать и ее отца и ризничего. В случае же, если он снова даст повод к нападкам на наш орден, тогда уже его можно будет наказать со всей строгостью, однако втайне. Ибо что написано о сем в декретах^[102] «*Facinora ostendi duni punientur, flagitia autem abscondi debent*»³⁶.

Латинские цитаты, как Евстафий уже имел случай убедиться, часто оказывали на аббата сильное действие – в латыни он был не очень силен, а признаться в своем невежестве стыдился. На этом их разговор окончился, и они разошлись на ночь.

На следующий день аббат Бонифаций с особой строгостью принялся допрашивать Филиппа об истинной причине несчастья, которое произошло с ним прошедшей ночью. Но ризничий твердо стоял на своем. Он ни в единой мелочи не уклонился от своего прежнего рассказа, хотя его ответы были порой довольно бессвязны; нет-нет да они перемежались отрыв-

³⁶ Я обнаружил проступки, дабы наказать за них, но позорные дела следует прятать (лат.).

ками песни загадочной девы, песни, которая, видимо, произвела на него такое сильное впечатление, что он не мог не напевать ее во время допроса.

Аббат сжалился над ризничим, непритворный испуг которого был, по-видимому, действительно вызван чем-то сверхъестественным. В конце концов он пришел к убеждению, что более естественное толкование событий, предложенное отцом Евстафием, хоть и правдоподобно, но не включает в себе истины. Однако, с другой стороны, мы должны добавить (хотя мы изложили всю эту историю в точности так, как она записана в рукописи), что случай этот вызвал раскол в монастыре, так как некоторые иноки имели, по их словам, основательные причины подозревать, что дело все-таки не обошлось без черноглазой дочки мельника. Но, как бы то ни было, в конечном итоге все сошлось на том, что история эта несет в себе такой соблазн, что разглашать ее отнюдь не следует, а посему ризничего обетом послушания обязали не болтать лишнего о своем ночном купании. Нетрудно себе представить, что он с великой радостью подчинился такому предписанию, поскольку уже облегчил себе душу подробным рассказом.

Когда отец Евстафий слушал чудесную повесть ризничего, внимание его было гораздо больше привлечено упоминанием о книге, которую тот привез из башни Глендеарг, чем его приключениями. Экземпляр Священного Писания в переводе на народный язык, как оказалось, проник даже на церковную территорию и был внезапно обнаружен в одном из самых отдаленных и глухих уголков владений монастыря Святой Марии.

Отец Евстафий настойчиво требовал, чтобы ему принесли эту книгу. Но ризничий никак не мог удовлетворить его желание, так как он ее потерял, насколько он мог припомнить, в тот самый момент, когда сверхъестественное существо (каковым он почитал деву) его покинуло. Отец Евстафий самолично отправился на место происшествия, чтобы отыскать книгу, и произвел там самые тщательные розыски, но безуспешно. Он возвратился к настоятелю и доложил ему, что книга, по всей вероятности, упала в реку или в мельничный проток.

– Ибо едва ли можно себе представить, – добавил он, – чтобы певунья – приятельница отца Филиппа – могла улетучиться с экземпляром Священного Писания.

– Но, принимая во внимание, – возразил аббат, – что это еретический перевод, возможно, власть сатаны на него и распространилась.

– Да! – откликнулся отец Евстафий. – Конечно, одно из самых сильных орудий дьявола – подстрекательство дерзновенных и самоуверенных людей к высказыванию собственных мнений и заключений о Святом Писании. Но, при всех возможных кривотолках, Писание все же остается источником нашего спасения и никак не лишается святости из-за тех или иных опрометчивых о нем суждений. Таким же образом сильнодействующее лекарство могло бы быть признано негодным или ядовитым только потому, что безрассудные и невежественные лекари употребляли его во вред больным. Однако, с разрешения вашего преподобия, мне хотелось бы разобраться в этом деле более подробно. Я сам хочу отправиться, не медля ни минуты, в башню Глендеарг, и тогда посмотрим, посмеет ли какое-либо привидение или злонамеренная Белая дама воспрепятствовать моей поездке туда или обратно. Даете ли вы мне на это ваше пастырское разрешение и благословение? – спросил он, но таким тоном, как будто особого значения для него это не имело.

– Даю и то и другое, брат мой, – отозвался аббат. Но стоило только Евстафию удалиться из комнаты, как настоятель в присутствии внимавшего ему ризничего не смог удержаться от выражения искреннего пожелания, чтобы любой дух – черный, белый или серый – проучил отца Евстафия как следует, раз навсегда излечив его от уверенности, что он умнее всех в обители.

– Я, со своей стороны, ничего особенно плохого ему не желаю, – добавил ризничий. – Пускай бы только он поплыл себе беззаботно вниз по течению, а привидение сидело бы у него за плечами, и пускай бы ночные вороны, русалки и болотные змеи только ждали, как бы его схватить:

Плывем мы весело, блещет луна!
Счастливо удить! А кого же ты ждешь?

– Брат Филипп! – воскликнул аббат. – Мы призываем тебя прочесть молитву, взять себя в руки и выкинуть наконец это дурацкое пение из головы. Это просто дьявольское наваждение.

– Постараюсь, высокочтимый отец, – отвечал ризничий, – но эти напевы застряли у меня в памяти, как колючки застревают в отрепьях нищего. Напевы эти звучат для меня теперь даже в пении псалмов; более того – монастырские колокола как будто повторяют их слова и вызывают мотив. Да если бы вы приговорили меня сию минуту к смерти, я и тут бы продолжал петь: «Плывем мы весело...» Это, видимо, и на самом деле наваждение.

И он снова завел свое:

Счастливо удить!..

Но затем, сделав над собой усилие, он перестал петь и воскликнул:

– Нет, дело ясное – конец пришел моему священству! «Плывем мы весело...» Я стану петь это даже во время обедни. Горе мне! Я буду теперь петь до конца моих дней, и притом вечно одно и то же!

Почтенный аббат на это заметил, что ангелы тоже поют вечно и, по всей вероятности, одно и то же, и заключил это высказывание громким «ха-ха-ха!», ибо его преподобие (как читатель, вероятно, уже успел заметить) принадлежал к числу тех недалеких людей, которые питают пристрастие к плоским остроумам.

Ризничий, хорошо знакомый с остроумием своего настоятеля, хотел было присоединиться к его смеху, но тут вдруг злополучный мотив вновь зазвучал у него в ушах и, вырвавшись наружу, прервал его отклик на начальническую шутку.

– Замолчи ты, Христа ради, брат Филипп! – воскликнул аббат в сильнейшем раздражении. – Ты становишься просто невыносим! Я убежден, что подобные чары не могли бы долго влиять на человека благочестивого, да еще в доме благочестия. Иное дело, если у этого человека на совести смертный грех. Посему изволь прочесть семь покаянных псалмов, прибегни к усердному бичеванию плоти и облачись во власяницу, воздержись три дня от всякой пищи, кроме хлеба и воды. Я сам буду тебя исповедовать, и тогда посмотрим, не удастся ли нам изгнать из тебя этого поющего беса. Мне думается, что лучшего способа, чтобы заклясть дьявола, не придумал бы и сам отец Евстафий.

Ризничий испустил тяжелый вздох, но понял, что сопротивление бесполезно. Он удалился в свою келью, чтобы проверить, насколько псалмы способны изгнать из его очарованной памяти бесовские напевы.

Между тем отец Евстафий, направляясь к одинокой долине Глендеарг, добрался до подъемного моста. В короткой беседе с грубияном сторожем ему весьма ловко удалось склонить своего собеседника к большей сговорчивости в отношении его претензий к монастырю. Он напомнил сторожу, что его отец был вассалом обители, что его брат бездетен и что, таким образом, наследственный лен после смерти брата перейдет к церкви. Лен этот может быть пожалован ему, сторожу, но может быть пожалован и кому-нибудь другому, кто заслужит большее расположение аббата. Все будет зависеть от отношения данного человека к монастырю. Помощник приора намекнул сторожу, что выгоды его должности будут в значительной степени зависеть от того, смогут ли они в дальнейшем сочетаться с монастырскими интересами. С кротким терпением выслушал отец Евстафий грубую брань – то был ответ сторожа. Но, твердо продолжая гнуть свою линию, он с удовлетворением отметил, что Питер постепенно стал сбавлять тон и, наконец, согласился вплоть до самого Троицына дня даром пропускать через мост всех пешеходов.

паломников, с тем, однако, что едущие верхом или в повозках по-прежнему будут уплачивать причитающуюся пошлину.

Уладив таким образом весьма удачно дело, в котором монастырь был кровно заинтересован, отец Евстафий отправился в дальнейший путь.

Глава VIII

*Не трать зря время – клад оно для мудрых!
Глупцы его безумно расточают,
А роковой Рыбак^[103], пока мы медлим,
Улавливает души на приманку.*

Старинная пьеса

Вверх по ущелью, окутанному ноябрьским туманом, медленно, но верно ехал отец Евстафий. Он не мог не поддаться тому грустному настроению, которое порождает созерцание природы в это время года. Река, казалось, роптала уныло и глухо, как бы оплакивая уходящую осень. В рощах, местами окаймляющих ее берега, только листва дубов еще сохраняла тот бледно-зеленый цвет, который предвещает переход к бурно-ржавым оттенкам. Ивы стояли почти обнаженные, а их листья устилали землю, шурша под ногами мула и разлетаясь от каждого дуновения. Листва других деревьев, совершенно засохшая, еле держалась на ветвях, ожидая первого порыва ветра, чтобы осыпаться.

Монах погрузился в размышления, которые с особой силой возбуждаются в душе приметами наступившей осени. «Вот они, – думал он, взирая на опавшие листья, – вот они лежат передо мной, упования нашей юности, расцветшие раньше всех, чтобы быстрее всех увянуть, столь прелестные весной и столь бранные зимой. Но и вы, уцелевшие, – продолжал он, глядя на засохшие листья, еще висящие на ветвях буковых деревьев, – вы подобны горделивым мечтам отважного человечества, которые расцветают позднее и все еще увлекают зрелый ум, хотя он и постиг их безрассудство. Ничто здесь не вечно, ничто не просуществует долго, разве что листья могучего дуба! Они появляются тогда, когда у остального леса листва уже прожила половину своего срока. Поблекшая, слинявшая зелень – вот все, что у него теперь осталось, но эти признаки жизненной силы он сохраняет до конца. Так пусть же таким будет и отец Евстафий! Радужные надежды моей молодости я растоптал ногами, как топчу этот сухой лист; горделивые мечты моей зрелости я вспоминаю теперь, как пустые химеры, которые давно поблекли; но мои церковные обеты, мое духовное призвание, которому я последовал в более поздние годы, – они будут жить, пока живет Евстафий. Возможно, что меня подстерегают опасности, да и силы мои невелики, но она будет жить, эта гордая решимость служить моей церкви и бороться с ересями, ее раздирающими».

Так говорил – или, по крайней мере, так думал – человек фанатической веры, порожденной недостаточностью образования, смешивавший насущные потребности христианства с непомерными и захватническими претензиями римской церкви и защищавшей свое дело с жаром, достойным лучшего применения.

В то время как монах, будучи в таком созерцательном настроении, подвигался вперед, ему нет-нет да и казалось, что он видит перед собой на дороге женщину в белом одеянии, в позе глубокой печали. Но это впечатление было настолько мимолетным, что, как только он начинал пристально глядеть в ту сторону, где он только что видел фигуру, неизменно оказывалось, что он принял за видение нечто весьма обыкновенное – белый камень или поваленный ствол березы с серебристой корой.

Отец Евстафий слишком долго жил в Риме, чтобы разделять суеверные страхи малообразованного шотландского духовенства. Но все же ему показалось удивительным, что фантастический рассказ ризничего мог произвести на него такое сильное впечатление. «Странно... – подумал он. – Эта история, которую брат Филипп, несомненно, выдумал, чтобы скрыть свои

неблаговидные поступки, так крепко засела у меня в голове, что мешает мне предаться более серьезным размышлениям, – мне следует взять себя в руки. Я начну читать молитвы и выкину из памяти всю эту ерунду».

Приняв это решение, монах стал набожно шептать молитвы, перебирая четки, в точности следуя предписаниям своего ордена, и его уже больше не тревожили никакие видения, пока он не подъехал к башне Глендеарг.

Госпожа Глендининг, стоявшая у калитки, вскрикнула от удивления и радости, увидав уважаемого отца Евстафия.

– Мартин! Джаспер! Где же вы все? – засуетилась она. – Помогите же сойти высокочтимому помощнику приора и отведите мула на конюшню. О святой отче! Сам Бог привел вас сюда, чтобы помочь нам. Я только что вновь собиралась послать верхового в монастырь, хотя мне и совестно было тревожить ваши преподобия.

– Тревоги для нас не имеют значения, сударыня, – отвечал отец Евстафий. – Чем я могу быть вам полезен? Я приехал навестить леди Эвенел.

– Как хорошо! – воскликнула госпожа Элспет. – А я как раз из-за нее-то и собиралась послать за вами: бедная леди, видно, и до завтрашнего дня не протянет! Не будете ли вы так добры пройти к ней?

– А разве она не исповедовалась у отца Филиппа? – спросил монах.

– Исповедовалась, – отвечала госпожа Глендининг, – и именно у отца Филиппа, как ваше преподобие справедливо заметили... Но... но мне хотелось, чтобы она совершенно очистилась покаянием от всех грехов. А мне показалось, что у отца Филиппа на этот счет остались сомнения... Да тут еще была книга, которую он взял с собой, так что... – И она запнулась, как бы не желая продолжать.

– Говорите все начистоту, госпожа Глендининг, – заметил отец Евстафий. – Это ваш долг ничего от нас не скрывать.

– Ах, ваше преподобие, с вашего разрешения, я бы от вас никогда ничего не скрала, кабы только я не боялась повредить этим бедной леди. Она прекрасная женщина, живет с нами уже не первый год, и лучше ее я никого не знаю. Но это дело – пусть уж лучше она сама вам объяснит, ваше преподобие.

– Сначала вы мне скажите, госпожа Глендининг, и я еще раз повторяю – это ваш долг мне все рассказать.

– Книга эта, – несмело начала вдова, – которую отец Филипп увез из Глендеарга, книга эта, с разрешения вашего преподобия, нынче утром таинственным образом вернулась к нам.

– Вернулась? – воскликнул монах. – Как так?

– Ее принесли обратно к нам, в башню Глендеарг, – продолжала госпожа Глендининг, – а как – это уж один Бог знает. Но это та книга, которую отец Филипп вчера увез. Старый Мартин – наш работник и слуга леди Эвенел – выгонял наших коров на пастбище, а надо вам сказать, досточтимый отец, что по молитвам святого Вальдгэва и по милости обители у нас есть три добрых молочных коровы...

Монах чуть не застонал от нетерпения. Но он вовремя вспомнил, что женщина такого нрава, как почтенная вдова Глендининг, подобна волчку: не трогай его, когда он вертится, – он остановится, но если вздумаешь его подхлестывать, он будет вертеться без конца.

– Но оставим наших коров, ваше преподобие (хотя, уверяю вас, редко в каком стаде найдется такая скотина).

Работник выгонял их на пастбище, а мои молодцы – это Хэлберт и Эдуард, которых ваше преподобие видели в праздничные дни в церкви (а в особенности вы должны помнить Хэлберта, так как вы изволили его гладить по голове и подарили ему значок святого Катберта, что он носит на шапке), и с ними еще была Мэри Эвенел (это дочка леди Эвенел), – так вот, они побежали за стадом и принялись играть и носиться по лугу, ваше преподобие, как это

привычно детям. Вскоре они потеряли из виду и Мартина и коров, и им вздумалось залезть в узкую расселину, которую мы зовем Корри-нан-Шиан, где в самой глубине течет родник, и вот там вдруг они видят – с нами крестная сила! – что сидит у родника женщина вся в белом и ломает руки. Ребята, конечно, перетрусили, увидав перед собой незнакомую женщину (кроме Хэлберта – ему на Троицу минет шестнадцать, и он никогда ничего не боялся), но когда они к ней подошли – ее и след простыл.

– Стыдитесь, сударыня! – перебил ее отец Евстафий. – Такая рассудительная женщина – и вдруг верит всяким бредням! Дети попросу соврали – вот и все.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Работая над «Айвенго» и страдая тяжелой болезнью, Вальтер Скотт не оставлял своего старого замысла: в промежутках между мучительными приступами болезни и главами своего средневекового романа он диктовал роман из истории Реформации в Шотландии, который назвал «Монастырь». «Айвенго» вышел в конце декабря 1819 года, «Монастырь» поступил в продажу в начале марта 1820 года. Большая его часть была написана в январе – феврале этого года. Так же как и предыдущий, этот роман вышел за подписью: «Автор «Уэверли»».

2.

Чосер Джеффри (1340–1400) – великий английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов» – сборника стихотворных новелл и сказок, которые рассказывают друг другу паломники по дороге в Кентерберии на богомолье. Книга эта дает яркую картину нравов английского общества XIV в. Цитата в тексте («...Королева фей с волшебной арфой...») взята из того же сборника (рассказ Чосера о сэре Топазе).

3.

«Старое поместье» – роман английской писательницы Шарлотты Смит (1749–1806).

4.

Чеймберс Роберт (1802–1871) – автор трудов по истории Шотландии и шотландской литературы. Книга, названная в тексте, вышла в 1822 г.

5.

«Зритель» – журнал, издававшийся в 1711–1714 гг. английскими писателями Д. Аддисоном (1672–1719) и Р. Стилем (1672–1729).

6.

«Нравственный долг человека» – анонимное сочинение, вышедшее в XVII в.

7.

Каббала – мистическое учение, согласно которому мироздание состоит из четырех стихий. У каббалистов и в других мистических школах эти стихии связываются с миром сверхъестественных существ, причем каждой соответствует свой класс духов: воздуху – силфы, земле – гномы, огню – саламандры, воде – наяды.

8.

Граф де ла Мотт Фуке (1777–1843) – немецкий писатель-романтик, автор «Ундины» (переведенной в стихах В. А. Жуковским), повести о русалке, полюбившей рыцаря, но вернувшейся в родную стихию, когда рыцарь предпочел ей земную женщину.

9.

Милезийские семьи – то есть ирландские, по имени легендарного народа (милезийцев), некогда пришедшего в Ирландию и населившего эту страну.

10.

Мэй Моллах, или Дева с волосатыми руками – сверхъестественное существо, покровительствующее домашним животным; частый персонаж ирландских сказок.

11.

Ариэль – действующее лицо драмы Шекспира «Буря». Цитируются слова Ариэля из акта V, сц. 2.

12.

Гностики – последователи религиозно-мистического учения о спасении души путем приобщения к знанию через божественное откровение.

13.

Розенкрейцеры. – Этим именем обозначают различные течения христианской мистики XVII–XVIII вв.: тайный союз алхимиков и магов, последователей некоего мифического Христиана Розенкрейцера, якобы созданный в конце XV в., и общество сторонников морального обновления христианства.

14.

Амадис – герой рыцарских романов, созданных в Испании в XV–XVI вв. Эти романы, вдохновившие Дон-Кихота на его странствия и высмеянные Сервантесом, имели необычайный успех во всей Западной Европе. Общая сюжетная канва их – любовь принца Амадиса к принцессе Ориане, ради которой он совершает самые невероятные подвиги.

15.

Ла Кальпренед Готье (1610–1663) – французский писатель, автор многотомных условно-исторических романов «Кассандра», «Клеопатра», «Фарамонд», где под видом исторических персонажей он изображает современное ему придворное общество.

16.

Скюдери Мадлен (1607–1701) – французская писательница, в такой же манере описывающая хорошо знакомый ей французский двор в романах «Артамен, или Великий Кир», «Клелия» и др.

17.

Отель Рамбулье – дом маркизы Катрин де Рамбулье (1588–1665), современницы Мольера, у которой в так называемом «Голубом салоне» собирались известные писатели и ученые. Однако дух жеманства, осмеянный Мольером, развился не здесь, а в различных других литературных салонах, возникших в подражание салону Рамбулье в Париже и в провинции.

18.

Иаков I – король Великобритании и Ирландии (1603–1625), а до того под именем Иакова VI король Шотландии (1567–1603), сын Марии Стюарт и Дарнлея, наследовавший английский престол после смерти бездетной королевы Елизаветы I.

19.

...как говорит Лир, скинуть с себя все наносное... – Имеются в виду слова Лира: «Долой, долой все лишнее» (акт III, сц. 4) из трагедии Шекспира «Король Лир».

20.

Хиосский бард – Гомер. Семь городов (Смирна, Хиос, Колофон, Итака, Пилос, Аргос, Афины) оспаривали честь называться родиной Гомера.

21.

...как дикарь в лесах, он благороден. – Цитата из пьесы Д. Драйдена (1631–1700) «Завоевание Гранады» (ч. I, акт. I).

22.

...убивает глупость наповал... – цитата из стихотворного трактата «Опыт о человеке» (1733–1734) английского поэта Александра Попа (1688–1744).

23.

Бен Джонсон (1573–1637) – выдающийся английский драматург, современник и друг Шекспира, тяготевший, в отличие от него, к классицизму. Автор ряда трагедий и социально-бытовых комедий.

24.

Дон Армадо, Олоферн – персонажи из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви»; Ним и Пистоль состоят в свите Фальстафа (комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы»).

25.

«Жиль Блас». – Имеется в виду роман «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны» французского писателя Алена-Рене Лесажа (1668–1747).

26.

«Родерик Рэндом» – роман «Приключения Родерика Рэндома» английского писателя Т. Смоллетта (1721–1771).

27.

«Том Джонс». – Речь идет о романе Филдинга (1707–1754) «История Тома Джонса, найденщика».

28.

Мак-Ивор – персонаж романа В. Скотта «Уэверли».

29.

Дэнди Динмонт – персонаж романа В. Скотта «Гай Мэннеринг».

30.

...вдруг стал он антикваром. – Цитата из стихотворения Роберта Бёрнса (1759–1796) «На путешествие капитана Гроуза в Шотландию», где Бёрнс высмеивает археологические разыскания капитана.

31.

Педен Александр (1626–1686) – шотландский духовный деятель, прославившийся своими проповедями.

32.

Джек – укротитель великанов – герой английских сказок.

33.

Гельвеций Клод-Адриан (1715–1771) – французский философ-материалист, автор сочинения «О человеке, его умственных способностях и его воспитании».

34.

Дагдейл Сэмюел (1605–1686) – английский историк и археолог, автор «Монастикона» – книги об истории английских монастырей.

35.

Сэмюел Джонсон (1709–1784) – английский писатель и критик, издатель Шекспира, составитель известного словаря английского языка.

36.

...попробуй-ка оспорить... – цитата из сатирического стихотворения Р. Бёрнса «Сон».

37.

...Очистить грудь от пагубного груза... – перефразированная цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 3).

38.

Mumpsimus, Sumpsimus. – Имеется в виду известная английская поговорка: «Я не собираюсь менять мой старый Mumpsimus на ваш новый Sumpsimus», означающая нежелание признать свою ошибку. Происхождение ее связывают с рассказом о некоем невежественном священнике, который вместо слова Sumpsimus (quod sumpsimus in ore – «то, что принимаем в уста») произносил бессмысленное Mumpsimus и ответил приведенным выражением, когда на его ошибку обратили внимание.

39.

Кромлехи – древние сооружения из грубо тесанных каменных столбов, возведенные кельтами, а возможно, и племенами, населявшими Британию в докельтские времена.

40.

Кэрны – кельтские могильные памятники, а также межевые знаки в виде пирамидальных груд из камней.

41.

...во времена датчан... – В X–XI вв. территория Англии подвергалась вторжениям датчан, одно время завоевавших почти весь остров.

42.

Аллан Рэмзи (1686–1758) – шотландский поэт и собиратель фольклора, составил сборник обработанных им народных баллад и собственных стихотворений, написанных в подражание народным балладам.

43.

Пинкертон Джон (1758–1826) – шотландский историк и фольклорист, автор сборника «Древние шотландские поэмы из коллекций рукописей сэра Ричарда Мейтленда» (1786). Это собрание имеет в виду В. Скотт.

44.

Иаков V (1512–1542) – шотландский король, отец Марии Стюарт.

45.

Орден святого Бенедикта – один из старейших монашеских орденов католической церкви, основанный в VI в.

46.

Община Святого Мавра – ученая конгрегация католических монахов (бенедиктинцев), возникшая в начале XVII в. во Франции и ставившая своей целью изучение и издание исторических памятников и сочинений, посвященных истории церкви, а также древней и средневековой истории Западной Европы.

47.

Кампания 1793 г. – вооруженная интервенция, проводившаяся Англией и другими европейскими государствами против французского народа, свергнувшего абсолютизм.

48.

Потомак, Саскуиханн – реки в Северной Америке, на берегах которых поселились выходцы из Англии и Шотландии.

49.

...видел трех царей-волхвов. – По евангельскому преданию, три восточных царя (или волхва): Каспар, Мельхиор и Валтасар, ведомые звездой, пришли к младенцу Иисусу и принесли ему дары. Согласно легенде, в XII в. останки их хранились в Кёльнском соборе.

50.

Майкл Скотт (ок. 1180 – ок. 1235) – ученый-схоласт и переводчик Аристотеля, по происхождению шотландец. Был придворным астрологом императора Фридриха II.

51.

Джедедия Клейшботэм – вымышленный издатель романов В. Скотта.

52.

...последней новинки... – Имеется в виду «Утопия», роман Т. Мора (1478–1535), выдающегося английского мыслителя-гуманиста.

53.

Африт – злой дух в мусульманских религиозных представлениях.

54.

Ксеркс – царь древнеперсидского царства (486–465 до н. э.), возглавивший поход против греков (481). Когда при переходе пролива Геллеспонт буря разбила наведенный через пролив мост, разгневанный Ксеркс повелел бичевать море.

55.

Кадм – легендарный основатель древнегреческого города Фивы. Мифы, в которых фигурирует Кадм, весьма древнего происхождения.

56.

Клеверз (Клеверхауз), Берли – действующие лица романа В. Скотта «Пуритане».

57.

Монах Роули. – Имеется в виду Т. Чаттертон (1752–1770), английский поэт, покончивший самоубийством. Четырнадцать лет выпустил книжку стихов, имитирующую старинную поэзию, приписав эти стихи мифической личности, монаху Роули, якобы жившему в XV в.

58.

Перчес Сэмюел (1577–1626) – английский писатель, автор сочинений о путешествиях и географических открытиях.

59.

Хаклюйт Ричард (1552–1616) – английский географ, издатель материалов по истории путешествий. После его смерти часть его бумаг издал Перчес.

60.

Питер Уилкинс – герой романа Роберта Пэлтока (1697–1767) «Жизнь и приключения Питера Уилкинса из Корнуолла» (1750), вышедшего первоначально анонимно. Роман является подражанием «Робинзону Крузо» Дефо.

61.

Мэри Эджуорт (1767–1849) – английская писательница, автор романов и повестей из ирландской жизни.

62.

Сид Ахмет Бенинхали – вымышленный мавританский историк в романе Сервантеса «Дон Кихот», якобы выпустивший еще при жизни Дон Кихота книгу о его приключениях.

63.

Корнелий Агриппа (1486–1535), прозванный Неттесгеймским, – энциклопедически образованный ученый эпохи Возрождения, историк, юрист, философ, знаток военного дела, инженер и медик, стяжавший у современников славу чернокнижника и мага.

64.

...открылась дверь и появился дьявол. – Цитата из стихотворения английского поэта-романтика Р. Саути (1774–1843) «Корнелий Агриппа. Баллада о юноше, который вздумал читать запретные книги и был за это наказан».

65.

Хуан Авельянеда – подражатель Сервантеса, напечатавший продолжение первой части «Дон Кихота», прежде чем сам Сервантес выпустил второй том своего романа.

66.

Иаков I (1394–1437) – шотландский король (1424–1437) и в то же время поэт, автор «Книги короля» и других поэтических произведений.

67.

Джон Беньян (1628–1688) – английский поэт и проповедник, автор аллегорического романа «Путь паломника».

68.

...не все тут от блудницы этой, // Чей трон незыблем на семи холмах! – Имеется в виду католическая церковь, основавшая престол свой в Риме, городе, расположенном на семи холмах.

69.

Сэр Роджер. – Речь идет о сэре Роджере де Коверли, одном из постоянных персонажей, действующих в журнале «Зритель», издававшемся Аддисоном и Стилем (см. коммент. к с. 12). Имя сэра Роджера стало в Англии нарицательным, обозначая характерную для английской провинциальной жизни XVIII в. фигуру – человека простого, сердечного, добродушного и в то же время довольно ограниченного.

70.

Старинная пьеса. – Эпиграф к первой главе, как и многие эпиграфы романа, принадлежит самому В. Скотту.

71.

Чалмерс Джордж (1742–1825) – шотландский историк и антиквар, автор многочисленных работ по истории Англии и Шотландии, в частности обширного труда по истории, археологии и топографии Шотландии («Каледония»).

72.

Давид I (1124–1153) – шотландский король.

73.

Битва за Знамя – битва при Катон-муре в 1138 г., когда Давид I потерпел поражение от войск английского короля Стефана Во время битвы английские военачальники поместили в центре своих войск повозку с установленной на ней корабельной мачтой, на которой были укреплены знамена с изображением святых – покровителей английских графств и ларец со святыми дарами (отсюда и название битвы).

74.

...во время злосчастных войн начала царствования королевы Марии... – то есть Марии Стюарт (1542–1587). Войны были вызваны притязаниями английского короля Генриха VIII (1509–1547) на Шотландию, которую он стремился присоединить к Англии. До совершеннолетия Марии Стюарт страной управляла в качестве регентши ее мать, Мария де Гиз (1515–1560), француженка по происхождению и сторонница союза Шотландии с Францией.

75.

Алекто – одна из трех эриний (наряду с Тисифоной и Мегерой), богинь мщения, которых греческая мифология представляла в виде ужасных крылатых старух со змеями вместо волос и с факелами и бичами в руках.

76.

Дугласы – старинный и могущественный шотландский род. В битве при Отерборне 19 августа 1388 г. шотландские войска, предводительствуемые графом Джеймсом Дугласом, одержали крупную победу над численно превосходящими их англичанами. В этой битве погиб сам

Дуглас. Память об этой битве хранилась в народных балладах: шотландской – «Отерборн» и английской – «Чеви Чейс».

77.

Сражение при Пинки (1547). – В этой битве шотландские войска были разбиты английской армией протектора Англии Сомерсета.

78.

Протектор Сомерсет – Эдуард Сеймур, герцог Сомерсет (1506?–1552). После смерти Генриха VIII стал лордом-казначеем и протектором (то есть регентом) Англии. Фактически управлял страной за несовершеннолетнего Эдуарда VI. Сильная аристократическая оппозиция, используя его неудачу во внешней политике и народные восстания внутри страны, добилась отстранения его от протектората, а в 1552 г. Сомерсет был казнен.

79.

Святой Георгий считался покровителем Англии, подобно тому как святой Андрей был покровителем Шотландии, а святой Патрик – Ирландии.

80.

Старый Мейтленд – сэр Ричард Мейтленд (2-я половина XIII в.), шотландский рыцарь, отличившийся в боях против англичан.

81.

Канун Дня всех святых (31 октября) был связан со многими народными поверьями и обычаями.

82.

Коллинз Уильям (1721–1759) – английский лирик, автор «Восточных эклог» и многих од. В творчестве его намечен переход от рационалистической поэзии Попа к романтикам.

83.

Древний философ отказался вступить в спор с императором... – Речь идет о знаменитом в древности риторе и софисте Фаворине (I в. н. э.), пользовавшемся расположением римского императора Адриана. Но все же Фаворин однажды отказался спорить с императором, заявив, что самый мудрый человек тот, кто повелевает тридцатью (а не двадцатью, как сказано у Скотта) легионами.

84.

Крест святого Андрея (Андреевский крест) – крест в виде римской цифры X, белый на голубом поле; особо почитался христианской церковью – как изображение первой буквы слова Христос в греческом начертании и в связи с тем, что, по преданию, ученик Христа апостол Андрей был распят на кресте такой формы.

85.

Робин Гуд – легендарный разбойник английского фольклора, живший, по преданию, в XII–XIII вв. В этом образе нашел воплощение народный идеал свободолюбивого героя, защитника крестьян и всех угнетенных, патриота, боровшегося с завоевателями, норманнскими дворянами. С именем Робина Гуда связан обширный цикл баллад.

86.

Дэвид Линдсей (1490–1555) – шотландский поэт, последователь Чосера. Был придворным короля Иакова V. Значительное место в его поэзии занимает сатирическое изображение духовенства (например, «Забавная сатира о трех сословиях»).

87.

Святой Антоний – так называемый Антоний Великий (ок. 250 – ок. 355) – христианский подвижник, основатель монашества. Испытание святого Антония – тема, неоднократно использовавшаяся художниками и писателями.

88.

Святой Катберт – монах, живший в VI в., проповедник христианства на границе Шотландии и Англии. Считался покровителем этой области.

89.

Филлис – традиционное имя влюбленной пастушки или вообще возлюбленной в пасторальной лирике XVI в.

90.

Ризничий – монах, ведающий церковным имуществом.

91.

Лорд-аббат – духовное лицо, стоящее во главе монастыря, его приор.

92.

Это Священное Писание, но оно изложено народным языком... – Католическая церковь запрещала мирянам чтение церковных книг, в особенности Библии. Указ папы Иннокентия III гласит: «...не только простые и необразованные, но даже мудрые и ученые не располагают достаточными данными для исследования его (то есть Священного Писания) смысла».

93.

Бернард Клервоский (1091–1153) – крупный деятель католического монашества, представитель мистического течения в католичестве. Почти всю жизнь был настоятелем монастыря в городе Клерво (Франция) и отказывался от более высоких постов. Был одним из вдохновителей второго крестового похода (1146). Католической церковью причислен к лику святых.

94.

Цистерцианцы – ответвление ордена бенедиктинцев. Название происходит от основанного в 1098 г. монастыря Цистерциум. Деятельность Бернарда Клервоского привела к значительному росту ордена, поэтому его нередко называли вторым основателем ордена, а самый орден – бернардинским.

95.

Келпи – в шотландском фольклоре водяной дух, способный принимать различные обличья.

96.

Митрофорный аббат – аббат в сане епископа.

97.

Облеченный в пурпур (аббат) – выражение из поэмы «Дунсиада» (1742) выдающегося поэта английского классицизма Александра Попа (1688–1744).

98.

Тайный совет. – В ряде государств, в частности в Шотландии и Англии, существовали особые Тайные советы, которые должны были содействовать королю в решении вопросов, подлежащих его личной компетенции. В шотландском Тайном совете большую роль играло католическое духовенство, поскольку шотландские короли в своей борьбе с сепаратизмом феодалов не могли опираться на горожан из-за малого значения этой прослойки в феодальной Шотландии и искали поддержки у духовенства.

99.

Примас – в католической церкви высшее духовное лицо в данной стране. Примасом Шотландии был епископ – настоятель монастыря Святого Андрея.

100.

...Из праха дух свершает свой исход. – Стихи из сатирической поэмы «Абессалом и Ахитофель» (1628) Д. Драйдена. Абессалом и Ахитофель – библейские персонажи.

101.

Праведный Иов. – В Библии рассказывается о праведнике Иове, которому выпало на долю служить объектом спора между Богом и дьяволом о природе человека. Дьявол с согласия Бога подвергает Иова всевозможным испытаниям.

102.

Декреталии – папские указы, содержащие постановления общего характера и церковные законы, в отличие от папских рескриптов, рассматривающих отдельные, конкретные случаи.

103.

Роковой Рыбак – то есть дьявол.